

ПЁТР
КРАСНОВ

Урал-
БАТЮШКА



Новомир

Урал-батюшка

Пётр Краснов

Новомир

«ВЕЧЕ»

2019

Краснов П. Н.

Новомир / П. Н. Краснов — «ВЕЧЕ», 2019 — (Урал-батюшка)

ISBN 978-5-4484-7948-9

События, описанные в повестях «Новомир» и «Звезда моя, вечерница», происходят в сёлах Южного Урала (Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых «реформ». Главный персонаж повести «Новомир» — пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, доживающий свой век в полузаброшенной нынешней деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в себе то человеческое, что напрочь утрачено так называемыми новыми русскими. Героиня повести «Звезда моя, вечерница» встречает наконец того единственного, кого не теряла надежды найти, — свою любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и на что так надеялись... Повесть «Высокие жаворонки» — о деревенском детстве конца 50-х — начала 60-х годов, об освоении маленьким человеком «жизненного пространства» в нелёгкие ещё, но уже опомнившиеся от Великой войны времена. Именно тогда закладываются в человеке все главные понятия о добре и зле, о чести, совести, Родине, о самом предназначении нашей жизни. Новая книга известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других.

ISBN 978-5-4484-7948-9

© Краснов П. Н., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Новомир	5
I	5
II	9
III	12
IV	16
V	21
VI	26
Звезда моя, вечерница	29
1	29
2	32
3	39
4	44
5	49
6	53
7	56
8	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Пётр Николаевич Краснов

Новомир

Повести

Новомир

I

– В принципе, – рассеянно сказал приятель, – псина-то неплохая. Хотя вздрючить бы за проказу не мешало. Вздрючить, а? – спросил он, глаза переводя, удостоив, наконец, взглядом поодаль благоразумно сидевшую собаку. – Или малость погодить?

Юрок понимающе – где тебя вздрючить, мол, при такой-то жаре и лени, – поглядел на него и даже хвостом не шевельнул на пустые эти речи. Но чего уж точно он не понимал, так это интеллигентского – перекочевавшего уже и к работягам и даже в блатную феню – словца-паразита, Гущину и самому однажды услышать довелось угрожающее в свой адрес: «Ну т-ты, в принципе!..» И было это похуже, кажется, чем «в натуре», прогресс и тут всюю наличествовал. Юрок же не мог понять его и потому еще, может, что беспринципней этой собаки встречать пока не приходилось.

Поменьше среднего собачьего размера, с примесью каких-то болоночьих кровей и заросший до носа длинной шерстью, некогда белой, а теперь отвратно грязной, сбившейся в колтуны, в сосульки и лепехи слипшиеся, волочившиеся по земле, Юрок был типичным бичеваном и по характеру тоже. Сказывалось городское, должно быть, и отчасти благородное происхождение – от какой-нибудь квартирной, но по недосмотру хозяев загулявшей с бродячим двортерьером мамыши-гризетки, собачьих абортариев, сдается, новейшие собачки ещё не завели – чего, впрочем, утверждать уже нельзя; а известно, что тащит в деревню этот город, эти благородные... Привезенный лет семь ли, восемь назад сюда городскими внуками уже таки большеньким, вьюношей хватким, Юрок имел двор прописки, деда с бабкой за хозяев и пусть довольно случайный по их небрежности и по его провинностям всяким нередким, но все-таки харч, нет-нет да и перепадало. В еде, однако, прожорливый до невероятия и неразборчивый, постоянно шакалил он по чужим задворкам и помойкам, не считал за грех, говорят, и курчонка-простодыру придушить, когда никто не видит, или стянуть и растребушить бязевый с творогом мешочек, какой обыкновенно подвешивают хозяйки на гвоздик у заднего крыльца, чтобы дать сыворотке стечь, да и мало ль какой фарт выпадет. Угрызений совести он никаких, конечно, и никогда не испытывал, точь-в-точь как хозяин его, в стариковский возраст вошедший Еремин, которого и в глаза уж по прозвищу звали Ерёмой, хотя каким-то воспитателем детдомовским – «в дурака-мать его!» – наречен был, ни много ни мало, Новомиром... Лишь при получении паспорта, где-то в начале шестидесятых, переименовал имя, Николаем записался от стыда подальше; а наколка на разлапистой, раздавленной прошлыми всякими трудами пятерне так и осталась, вместе с расплывшимся таким же якорьком. На выпивку Ерема всегда готов был тоже если не украсть, так уворовать, не брезговал ничем и на все смотрел, как и Юрок, ясными и понимающими всю эту мировую мудотень глазами.

Приятель выговаривал псине за то, что тот стянул с верстака и едва не раздербанил оставленный во дворе сетчатый садок с рыбой, только что на утренней зорьке добытой, – наивный! Он ещё не знал, что бесполезней занятия, чем стыдить или ругать Юрка, в свете нету – тем более что позади в углу заборчика за хламом всяким дровяным есть у него потайной лаз со

двора гущинской избушки-дачи на курьих ножках: рубиконы всякие сдуру переходить, мосты за собой сжигать не в привычке у него было... Юрок и в тему-то не сразу врубился, введенный в заблуждение проникновенным пасторским, полным горечи и сердитости увещеваньем, пару раз даже помелом своим грязным подмахнул... рыба? Это за рыбу-то деньги? Подумаешь, окуньков там каких-то зажевал с сеткой вместе, тут и говорить-то не о чем. Ещё можно было бы, скажем, понять всю эту канитель словесную, если бы он, как по зиме позапрошлой у хозяйки своей, тушку гуся мороженного из сеней утащил под крыльцо – это когда она, бабка Ная, вилами его оттуда сослепу выковырнуть пыталась, а он до последнего держался, от них уворачиваясь, и погрызть даже толком не успел... А тут «матросики» какие-то, их и рыбой-то не назовешь – с чего разоряться? И он зевнул, отменно белыми и острыми зубами ляскнул и на Гущина посмотрел с какой-то даже утомленностью: скажи, что ли, ты этому, приедем, чтобы не гнал тут... эта мораль у меня знаешь где уже?!

Гущин-то знал, какой уж год вроде дачника здесь, да и сам деревенских кровей и кое-каких оставшихся привычек и познаний; а вот приятель, надивившись за два дня, с какой ловкостью эта псина открывает изнутри калитку низенькую гущинскую, крючок носом поддевая и снимая, как хамкает на лету все съедобное, но обманки всякие лишь глазами пустыми провозжая, и безошибочно понимает не только мимику и жесты человеческие, но и слова, – городской его приятель Максим безудержным и ни на чём, ей-богу же, не основанным мечтаньям предавался:

– Его постричь бы, помыть в трёх водах да в хорошие руки на выучку... он бы чудеса творил, не то что эти тупари породистые, вырожденцы комнатные. Заглянул как-то мимоходом на выставку собачью – габсбургский дом!.. Ну ладно, прохиндей, можешь подойти.

Юрок с готовностью приподнял зад, но сделал лишь один – именно из вежливости – шажок и снова сел.

– Нет, ну ты погляди! – в какой уж раз восхитился тот. – Н-ну дипломат! Ну собачий сын!..

– Да это так... этикет, пустяки, – сказал Гущин, не то что совсем уж не разделяя восхищения его, а просто из-за ради правды, какую частенько у нас путают с объективностью, хотя понятия-то эти разные. – Всем известный дипломатический протокол, цирлих-манирлих... Ему, если уж на то пошло, доступны тонкости более высокого порядка – да-да, то, что умственным уже назвать можно...

И рассказал, как прошлым ноябрём забил Ерёма и свежевал с соседом на заднем дворе подвешенного на проножки «башмака», годовалого то есть бычка, – нечем кормить, не позаботился; а он, Гущин, как раз подошёл по какому-то делу, заодно покурить, поглядеть. Шкуру сняв с телка и к разделке готовясь, по себе зная, что и Юрок из-за своей страсти на все способен, прямо из-под руки кусок утащить – это за ним не заржавеет, Ерёма предусмотрительно приоткрыл задние из штaketника воротца, молча головой показал тому: давай, мол... С неохотой великой, но безропотно последовал Юрок на зады, где уже крутились в ожидании поживы два каких-то забредших на запах кобеля – при которых ему-то, малорослому и с короткими ногами, ничего не светило...

Хозяин, всякие отонки¹ и мелочёвку ненужную обирая с туши, обрезая остро отточенным ножом, равнодушно откидывал её за штaketины, где тотчас расхватывалась она с жёлтого от навозной жижи снега и проглатывалась, нежёвано летело. Юрок только дёргался, суетился вокруг длинноногих этих, наглых и жадных, нюхнуть не доставалось. Но вот и до причинного у бычка места дошёл Ерёма, несколькими короткими порезами высвободил и отхватил, бросил, щерясь в ухмылке выкрошенными зубами, собакам... и-эх! Кинулись; но даже если бы и успел Юрок, схватил – толку-то, отняли бы тут же... И все-таки успел: молниеносно – пока

¹ Отонки (*местн.*) – плёнка на мясе.

путались они в ногах своих, схватить пытаюсь, – куснул за ляжку одного сзади, за бок другого хватнул, назад отскочил... Хрип горловой мгновенный, злобный донельзя – и уж рвут друг друга, пластают кобели, клубком крутятся; а тот скачком-бочком достигает, изловчась, хватает «предмет» – и за ближний угол скорей, подальше отсюда, со всех ног...

А Ерёма аж заходитя в смешке, в кашле прокуренном, приседая, стучит зажатой в кулаке ручкой ножа о коленку:

– От-так-от их!.. Отхватил премию!..

Что ни говори там, а своих недругов сравить да ещё попользоваться за их счёт – это, если по-человечьи, и есть самый верх дипломатии, не всякого канцлера на это хватит...

Юрок тоже не без внимания слушал рассказ, остро проблескивая иногда глазками сквозь свалывшуюся на морде и засаленными прядями свисавшую с головы шерсть, мехом ее уж никак не назовёшь, и готов был, сдавалось, сказать: «А-а, это тогда-то? Ну, было дело – подумаешь...»

– Одна-ако! – качал головой приятель. – Макиавелли засраный! Нет, в дело бы его – в охотничье хотя б...

– И как бы ты его на охоту – на ремне поволок, да?

– Как это – на ремне?

– А так, – усмехнулся Гушин. – Никуда-то он не пойдёт: ни на охоту, ни... Ему это всё – до фени, он бич, понимаешь? Ерёма уж пробовал на пастьбу его брать... во-он до того проулка дошёл с ним Юрок и под палисадник спать завалился – этак, знаешь, демонстративно. Тот и звал, и с кнутом к нему – куда там... Ему любую работу работать – как вору в законе... запаadlo, да. Ну никудышный он.

Никудышный, никак иначе его бабка Ная и не называла. Никчёмный, ни двор постеречь, ни даже за ягодой-реписом, за грибами в лесопосадку сопроводить, чтоб хоть душа живая рядом. Пробовали не раз на цепь сажать – так за ночь душу вытьём вынет, а на приходящих ноль внимания, не гавкнет, голоса не подаст... нет, нарочно не брехал, был уверен хозяин. Так и пришлось Рыжка завести, из аборигенов, и тот с первых же дней столь ревностным оказал себя ко двору, что не то что человека или кошек – кур чужих отличал и облаивал честь по чести, как оно и положено. Будучи во дворе когда, правда, и Юрок подбрехнёт иной раз Рыжку – но безадресно этак, в воздух, хвостом при этом работая, едва ль не симпатию выказывая гостю любому и каждому, даже цыганам с их вполне ощутимым звериным духом, от которого рыжий служака, взбеленившись, готов был сдохнуть в припадке на цепи... да и черта ль, в самом деле, портить Юрку отношения с кем бы то ни было, без нужды? В меру равнодушен был ко всем и всему, даже и в многошумных собачьих разборках, дрызгах и свадьбах редко когда в середку встревал, трезво сознавая, может, свою неважность, говоря поганым новомодным словечком, конкурентоспособность в разросшемся сверх всякого избытка собачестве, что в городе взять, что на селе, люди же и поразвели, страхась друг друга; всё где-то сбочку предпочитал, в качестве, так сказать, наблюдателя, так-то целей будешь... Главное же, каким-то вот образом поставить себя во дворе прописки сумел: и никчёмный, а вроде как свой, привычный, не выгонишь и шкуродеру не отдашь, да и на шкуру-то не годе... Головою ли, инстинктом, а умеют себя нахлебники поставить так, будто без них уж и не хватает чего-то, не обойтись.

– При таком-то уме, – всё не понимал приятель, не так ещё давно супротивник гушинский, а ныне демократ-расстрига, – да я бы...

Ну а что ты? Что – мы все, умные-разумные такие, в диалектике понатасканные, в полит-экономии сызмала, а простейшей задачки на вычитание из кармана нашего и из души решить не можем? Где нас, куда запропала сама наука жизни, а того более честь наша, дух? Сами из страны барахолку спекулянтскую, бомжатник всесветный сотворили, сами не сказать чтобы с радостью, конечно, нет, но с готовностью какой-то иррациональной опускаться стали, будто долго ждали того, всяк в свой разврат посильный кинулись, в одичаловку, и – «я бы...».

Но меньше всего резонером хотелось быть – чихала она, жизнь, на наши резоны. Как и смерть, и это-то, должно быть, Юрок получше Гущина с приятелем знал – ну, если и не знал, не дано ему, к счастью, этого точного знания, то чувствовал-то уж наверняка лучше. Дала она почувствовать.

II

История с гусём тетку Наю вконец, как ныне говорят, достала, ругалась – на полдеревни слышно было. «Черти вас на мою голову навязали, – кричала, – никчемушних! Оба из дому ташут – наперегонячку, алыхари! Своди со двора, так твою!..» Гусь дочери городской на новогодье приуготовлен был и с вечера соседям в амбар отнесен ею, чтобы, не дай бог, не сплавил его Ерёма кому-нибудь за пару-тройку бутылок самопала; и вот только договорилась с попуткой сдать, только в сенцы от соседей занесла, пока благоверный с похмелу глаз не продрал, как другой удосужил, такой же паразит клятый... Ярость её не знала исходу: как вот сдать такого гуся теперь, погрызенного? А другого не было, не гусака ж рубить, не гусынь, на племя оставленных; да и не успеть к попутке... Душила ярость – на всю свою жизнь ишачью, за бабу и за мужика, на судьбу беспроглядную, дышать не давала; и не из тех был Ерёма, чтоб такой момент удачный упустить. Свою пенсию он пропивал в первую же неделю и теперь был как раз – по выраженью, какое русскому переводить не надо, – «на подсосе». «Своди ко всем хренам со двора!..» – «Бутылку, – сказал он, – и все дела». – «Ага, разбежалась! А потом, скажешь, шофёру ещё, чтоб отвёз...» – «Куда его везти, ты што?! Он, ушлый, и с Мурмана прибежит. – Новомир Ерёмин когда-то служил под Мурманском в береговом экипаже, потом и в море выходил, и она знала, что это очень отсюда далеко. – Не-е, тут надоть это... тово». – «А хоть чево! Чтоб глаза не видели сволоту никомушную... Гадство с вами, а не жизнь!» – «Я ж говорю: бутылка».

Но и к этой наглости тетке Нае было не привыкать; случаем пользуясь, не раз уже и не два выставял ей муженёк, супруг незапряженный, такое вот для добрых людей дикое условие: за своё ж дело какое-никакое семейное, хозяйственное – и, вроде того, плати... «Будет тебе, хрен ненажорный... вот сведёшь – будет! Может, сам поскорей околеешь!..» Но подсердечно-искренняя подчас, тоскливая надежда эта её всё что-то никак не сбывалась, живуч оказался попутчик, пособник судьбы, хотя несколько раз уже «концы отдавал», желчью одной блевал и кровью...

Делать нечего, пришлось ей срезать кое-как, состругать погрызенное тупым ножом, не заставить никак мужика наточить, и самой тупым же топором порубить гуся на куски, так вот и сдать; а Ерёму, как всегда в таких случаях, охватила усугубленная похмельным синдромом лихорадка деятельности... Первым делом было – найти придурка этого, по задворьям где-нибудь шастающего, и поймать, на привязь посадить; но самому-то ловить было теперь никак не с руки, колотило всего... а дальше? Событьельник давний Задереев, ружьишко имевший и ходивший иногда на речку вяхирей и уток попугать, маялся с чирьями в больничке на центральной усадьбе, его оттуда не вызовешь... А Кирьку сговорить задереевского, вот что! Ещё тот алыхарь, как баба говорит, безобразник, хоть по годам и пацанёнок ещё, не зря отец ключ от ящика ружейного железного на шее носит вместо крестика. От зятя с прошлого приезда пачка сигарет валялась, с фильтром, а за них отморозок этот, по деду Кириллу названный, всё делает, что надо и не надо. Сам Ерёма «Приму» курил, с каждой пенсии сразу на месяц закупал, чтобы хоть за этим не шакалить; а из зятевой пачки разноцветной одну только достал, попробовал баловства ради и в какой раз подивился: ну, пахнет – а что там курить-то? Трава травой, только деньги переводить.

Ни того, ни другого искать долго не пришлось. Юрок на заднем, скотном дворе ошивался – в тоске по гусю, должно быть, и без какого-либо, само собой, страха иль раскаянья, ещё со щенячества все его проделки и провинности в этом безалаберном доме не то что прощались – забывались тут же за всякими другими происшествиями, вот ими-то богаты были тут, и одна была забота – под горячую руку не попасть. Предупредив лобастенького, с быстрыми сметливыми глазами на конопатой морде Кирьку: «Тока, это самое, не гляди на него, а то догадается,

сучок», – Ерёма навел с водою болтушку из отрубей и продвигал огромными своими разношенными валенками в сарайчик к поросёнку. Юрок, вообще-то, и болтушкой не брезговал, не прочь был вылизать пустое с остатками ведро; подождал немного хозяина, отчего-то тот не выходил, и не утерпел, сунулся в сарай – где и был немедленно схвачен, отсеченный сзади в дверях Кирькой, за грязный загрявок трясущейся хозяйской рукой.

При нужде Ерёма и сам бы управился с остальным, немудрено дело, – но незачем теперь, за воротцами на задах гомонила уже ребятня, Кирькой оповещённая, ждала. Поискал глазами и велел помощничку отмотать с прясла обрывок старого, заскорузлого от грязи бельёвого шнура, каким привязано было оно к столбу. Жердина упала одним концом, хрен-то с ней, а шнур оказался вполне ещё годным, выдержит; и он, на высокий порожек сарая присев и зажав уже и переставшую противиться псину между голенищами валенок, связал кое-как и наскоро петлю – колотун, однако, похмелиться поскорей бы, – сказал Юрку, вроде как всерьёз: «Што глядишь? Отвечать, брат, надо... все ответим». И насунул петлю на морду ему и дальше, на шею, подтянул, совсем тонкой оказалась под свалывшейся шерстью шея, передал другой конец Кирьке: «Так и тащи, подальше куда-нить... к конбайну вон. На нём и... это самое. Тока не упусти гляди». И с облегчением закурил, глядя, как пошла-побежала туда, покрикивая, ребятня по неглубокому совсем ещё снежку, как трусила боком меж ними поначалу упиравшаяся была собака – туда, к оврагу, где кособочился на его краю под мглистым зимним небом начисто раскулаченный «фермерами» комбайн и чернела другая всякая, тоже раскуроченная, бывшая колхозная техника.

Псину не жалел, не за что. Да и себя тоже – что жалеть, коль жизнь прошла уже. Прошла; а эту, нынешнюю, он за жизнь не считал, не стоила того – ни своя, ни общая, куда-то вовсе не туда повернувшая и будто с последних съехавшая катушек, припадочная какая-то... дожитки, да толку с этого уже не будет. Угрюмым был мир кругом, равнодушным, оно и к стати – не жалко кинуть всё к такой-то матери и забыть. Да, главное – забыть. Не помнить всю гнусь эту, свою и чужую, все её, жизнешки-злыдни, выверты и западни с заманками, оскорбления несмыаемые. Кинуть, уйти, от себя тоже.

Он сплюнул, затер валенком окуроч и тяжело – всё в нём скрипело и дрожью противной мелкой отдавалось – поднялся с порожка. Еле виднелась там, у комбайна, копошилась ребятня... сделает Кирька? Сделает. Злой парнишка, понаделает ещё горей.

Подошёл к грубо сбитому крыльцу, много лет уже без нижней ступеньки, какую заменял большой камень-плитняк, сказал в открытую дверь сеней, где гремела ведрами с пойлом жена: «Всё, навёл кранты. Так что, это... ставь давай». – «Положу! Так я и поверила!..» И ребятня уже на слово не верила ему, тот же Кирька, паскудник, сигареты наперёд запросил: а то, мол, знаем... Что ты знаешь, хотел вскипеть он, что понимаешь?! Но лишь обессиленно дернулось что-то в нём и сгасло, не загоревшись, как плохая спичка, едкий испутив дымок в глаза, разъедающий... пачку-то отдал бы и после, на кой она ему самому. А с чем другим... Прав, поганец.

А тут, когда дело и вправду сделано... Звездануть бы, чтоб с копыт слетела. Но нельзя, не отдаст тогда, хоть ножом режь, уж он-то знал. «Как-кого ты, чумичка!.. – схрипу закричал. – На конбайне вон висит, ребятню послал – глянь!»

Она выглянула, маленькая, гнутая-перегнутая напастями всякими, с подозрением и ненавистью посмотрела на него сначала, потом туда, к оврагу, где мельтешили парнишки, а один торчал на самом верху, на бункере. «Нехристи, ей-бо... – И скрылась в глубине сеней, пошебуршала там в чулане, вынесла мутную бутылку, неполную, стукнула ею в крыльцо. – На, жри!..»

Самогон, само собой, да кислый какой-то, вонький – «хвост», последней выгонки... Он вытер рукавом губы и как-то мигом вспотевший, взмокревший под драной кроличьей шапкой лоб: где держала она его – в валенках старых, в ларе с зерноотходами? Всё с утра перерыл на всякий случай, везде, в чулане тоже – нигде, ничего... насобачилась хоронить, стерва, что скажешь. Нет, хоть немного, а закусить надо теперь, а то палит нутро – как лампой паяльной,

недолго и до выкидыша. Одно хорошо, разве что забирать стало быстрее в последние времена... расходу меньше, да особенно поутрянке когда.

Через полчаса он сидел на уличной скамье у домишки своего, колхозом когда-то даденного как механизатору широкого профиля, – улыбающийся улице пустой, весь отмякший, блаженный, готовый позвать на скамейку к себе всех и каждого, всех вместе и каждого по отдельности. Во, теперь я – человек, подходи и не бойся, верь; лишнего, может, и не скажу, не дурак, но и обмануть не обману, незачем теперь... Этим небесно голубели, морщинками всеми лучились глаза его блаженные, приветные для всякого, и лишь знающий мог прочесть в них ещё и обыкновенное, всегдашнее: а пошли-ка вы все на хрен!..

III

Наутро всё та же была проблема – не такая болезненная, может, как вчера, но была. Пошёл наудачу «по адресам» – ничего, в одном дворе старые, давно уж вроде бы позабытые, понадеялся он, долги припомнили, а в другом и вовсе обложили последними словами, обла-яли... ладно, запомним. Но и запоминать-то – для чего? На том свете угольками?

К приятелю заглянул под конец обхода, к фронтовику Манохину, лет на десяток так постарше тот был и давно уж вековал один, жену на могилки слезами проводив, – хотя какой там приятель, разве что пенсию боевую, немаленькую по местным понятиям, помочь тому пристроить, в два горла-то. Ерёма уж и сам забыл, когда они были у него, приятели, чтоб как человек к человеку.

Манохин трезв был и понур, дня три ли, четыре уж не пил и потому пребывал в озабо-ченности хозяйством своим – вконец развалившимся, впрочем, даже и курей перевёл. Заботы две было: лампочку перегоревшую в кухоньке сменить и в погреб, что на дворе, спуститься, картошки набрать и банку-другую солений поднять. Ерёма с готовностью взгромоздился кое-как на шаткий табурет и еле открутил её, лампочку, так она закоксовалась от стародавности, пригорела резьбой; и оттуда, сверху, намекнул, что край как неможется... давление, что ль? А тут, говорят, дыры ещё какие-то появились – ну, наверху... «Отку-уда?! – открытым текстом отвечал Манохин, подслепло шурясь к нему, приглядываясь правым, ещё не совсем затянутым катарактой глазом. – Сам до пенсии вот недожимши... Ввинтил, что ль?» – «Да-к уж давно, жду. Включай, пробуй, а то ходули не держут...»

На двор вышли, Манохин, издавна обязавший себя знать политику и всякий раз при слу-чае подставлявший обволосевшее ухо к репродуктору, вспомнил: «Дыры, говоришь, наверху... в Кремле, что ль? Это уж точно...» – «Да не – в этой, как ее... атмосфере». – «А-а... – Еле он двигал ими, своими ногами, и теперь на осколки кстати пожаловался: – Один зимний, гад... Как зима, так начинает ходить-бродить, не сидится ему... Говорил же мяснику этому, район-ному: вырежь! Нет, мол, не трогать лучше... Ему, кобелю молодому, хорошо говорить...» Дал ключ, Ерёма отодрал кусок полуистлевшего, примёрзшего к земле брезента, откинул его вме-сте со снежком и вынул из глубокого творила погреба утепляющие его старые телогрейки и штаны ватные, отомкнул бахромою ржавчины поросший замок. Неудобный был погреб, лест-ница чёрт знает где внизу – наломаешься, покуда слазаешь.

Что удивило, так это десятка два банок больших и маленьких с соленьями и вареньями у старика... ну да, Манька-племянница эта его, небось, на пропитанье подкинула: огород-то большой у неё, а сама как была простодырой, так и осталась. Тоже натура, и ничего ты вот с ней не поделаешь...

Замок он просто приткнул – сделал вид, что запирает; и, вроде б для верности, подергал даже, прихватив дужку пальцем, бодро сказал: «Всё, в ажуре! Эх, под эти б огурцы...» Старик только вздохнул, ключ принимая: «Спасибо, что подмогнул-то... Да вот, дней через пять обе-щают за сентябрь – там, глядишь, и... разговеемся. На хлеб вот наскребу счас и в магазин». – «Да рано, хлебовозка-то в двенадцать теперь». – «Оно ничево, подожду там... с народом всё веселей».

Пришед, как говаривали раньше, в дом свой, Ерёмин озаботился вдруг, к удивленью жены, силосом для коровы. Молока-то и впрямь под отёл всё меньше даёт, хотя до запуска² вроде б и далековато пока; да и то сказать, много ль дашь с соломы, сенцом дрянным приправ-ленной внатруску? Но сразу же и насторожилась: что-то удумал, паразит... Корова эта ему – хоть сдохни, самой пришлось алкашню такую ж подрывать-нанимать, платить да ещё бутылки

² Запуск – прекращение доения перед отёлом.

ставить, чтоб сенцо это привезли, с клеверища бывшего колхозного ворованное; а этот как всегда с перепоею валялся, даже складывать не вышел. А с другой стороны если, одним только молоком и отпаивается, иначе загнулся бы давно, нехристь...

Ерёма, меж тем, салазки большие рабочие, из талов каким-то умельцем давным-давно вязанные, достал из-под навеса, мешок на них кинул, верёвку, все на тропку поглядывая, взгорком на соседнюю улицу к магазину ведущую. «Мешок-то зачем? В него, что ль, накладывать будешь? Ты б ещё портфелю взял...» – «Мало ль... Дроблёнкой, может, разживусь». Разживается, когда захочет – чёрта уговорит, уломает. Когда за кадык-то.

Ага, вон и Маноха стронулся к магазину, подвигал – с крейсерской скоростью пол-узла, не больше, да и то не без помощи батожка. Дальше хоть и с опаской немалой, но по обдуманному всё делал: с задов зашёл, дверка там была так себе, а калитку, что на улицу выходила, подпёр изнутри на всякий случай; и в два приёма, мешок в погребе нагружая и, вылезши, на верёвке его вытаскивая, дело покончил. Правда, пару банок мелких, ухмыльнувшись, оставил – на закусь, когда спохватится. В связке старых ключей, из дому захваченных, ни один к замку погребному не подошёл, а то бы и вовсе чисто было, если запереть им, чище некуда: испарились банки! То-то дивно бы хозяину стало – улетучились!..

Замок с откинутой дужкой на дощатом затворе погреба оставил, прикрыл всё, как оно было... нет, раньше недели не спохватится. Банки кое-как уместил в салазки, мешком прикрыл и телогрейкой, из творила прихваченной, огляделся – всё? Напоследок подпёртую калитку освободил и, вывезя салазки на зады, следы их притоптал. Теперь самое рискованное предстояло: никому на глаза с ними не попасться, домой увезти... А домой – зачем? Вон через три двора стог соломы огромный у Задереева – вот туда. Быстро и с оглядкой – туда: холодов больших не ожидается вроде, не разморозятся, да и всегда их можно взять отсюда, не к спеху...

Закопал поглубже, утеплил ватником, пару банок больших на сегодняшний день в мешке оставив, притрусил следы соломкой – вот теперь-то всё. И с лёгкой душой отправился по задам дальше, к силосной укладке, что за речкой была, у фермы с полсотней оставшихся коровёнок. Чьё теперь всё это, колхозное, стало – не понять... да что понимать – председателево, чьё ж ещё, вон какие хоромы отгрохал, на иномарке раскатывает, мироед. И по всей округе, какое ни возьми село, нигде зарплаты не платят, запросто этак в карман свой безразмерный складывают да ещё и смеются в глаза нам: «с ограниченной ответственностью»... Выходит, вроде рабов мы у них, и скажи спасибо ещё, что буханки под запись в магазине выдают. Мы вот раньше всё думали про себя, что воруем... ну нет, мы-то лишь приворовывали, по нужде сперва, а потом и в привычку вошло, вроде как в обычай. Это теперь воруют нещадно – да не мы, а сами охранники, каких сторожить добро поставили. Вот кто показал, как воровать-то надо... А и кто лучше охраны знает, где что лежит, где взять?

Он думал так, без особой опаски набивая силосом вместительные салазки: сторож при ферме, Трунов, уже завтракать ушёл, а это у него, гляди, до обеда. Да и работничек-то ещё тот – ни украсть, ни покараулить, из дежурки не выманишь... Ну а ты-то до него тут – что, лучше был? Спросил себя и себе ж ухмыльнулся: не то что с фермы чего – его по пьяни самого утащи, он бы и не почухался...

И назад возвращаясь, он ни одной души не встретил: со скотиной управившись, люди по домам ещё сидели, работы об эту пору всегда-то немного было, а теперь и подавно. Лишь на подходе ко двору своему наткнулся на торчащего неизвестно зачем на задах деревенского дурачка Федю, лет восемнадцати уже, низкорослого, толстого, какого преподобным почему-то прозвали, зачарованно с открытым ртом глядящего за речку куда-то, будто ожидая оттуда необыкновенного чего, небывалого... «Што ждешь-то, Федь?» Тот не отозвался на вопрос, лишь толстую шею с трудом повернул, посмотрел пустыми рыбьими глазами, втянул соплю и сам спросил, одобрительно: «Воруешь?» – «Ага, – смешком ответил он, – корове». – «Корове надо, – все так же одобрительно сказал Федя; и всегдашним монотонно-бубнящим своим,

но чем-то обиженным все-таки голосом вдруг пожаловался: – Боженьки нету... Молимся-молимся, а всё его нету...»

От неожиданности этой Ерёмин не то что опешил, нет – приостановился малость; и, головой крутнув и похилив в усмешке рот, поволок салазки дальше, так и не найдя, чем ответить. И что ответишь дураку? Мамаша с папашей, гулеваны, давным уж давно сплавили Федю сюда, к бабке-одиначке, сами же в райцентре гужуют-проживают, там у них ещё, говорят, наплодилось мал-мала меньше; а бабка богомольная с излишком, вот и таскает его с собой на всякие старушьи посиделки, учит, попросить если Федю преподобного – «Отче наш» без запинки прочитает и перекрестится как надо... Чудаки люди. Да и зачудишь: сунули их в эту жизнь – живи, мол; а как – не сказали толком, вот и мудрят всяк на свой манер, кто во что горазд. Ещё и довольны, поклоны бьют: слава богу, живы!.. И хоть пригляделись бы, какая она, жизнь эта... скотья ведь, хуже какой не придумаешь, не сыщешь. Гнобит всё, ноги об нас вытирает, как хошь ломает, а уж убить ей – первое дело, за удовольствие, хоть кого. Шагу не ступит без этого, да ещё намучает, наиздевается, чтоб совсем уж грязь ты стал и ничего больше. Вон как сына его, Гришку: так усох от раку, что хоть на лучинки его, на растопку топориком коли... Вот и живи как хочешь, жди всякий час любой, как дачник этот ученый говорит, мерзости... не-е, как жизнь, так и мы.

И вскорости, загнав банку Фирюзе за некрепкий, но какой-то дурноватый самогон (подкладывает, небось, чего-нито в него, татарва; зато уж не спросит, откуда товар, и сама никому не скажет), расположилась опять на скамье, всех проходящих щербато-улыбчиво приветствуя и заговаривая о том-сем, глазками по-младенчески голубея, – тем паче, что и солнце, наконец-то пробрело сквозь облака, снег засветился, заискрил от морозца, совсем легкого, и разбазарилась вовсю, артачились невесть с чего воробы в старом у соседа калиннике. Ишь, разлибилась, сказал он жизни. Лыбься-лыбься...

Убрался во двор со скамейки тогда лишь, когда увидел медлительно вырливающего с тропки на улицу, дорожные колчи нащупывающего бадиком Манохина, припоздала как всегда хлебовозка. Ничего, посмеялся он, у Маньги припасу хватит на тебя, подкормит. Оно и с пенсией фронтовой тут, если с умом, живи – не хочу. От нечего делать ещё силоса в ясли корове подбросил, с излишком, может, – хавай, не жалко. А вечером, потемну, надо бы вывезти эти банки, совершенно трезво подумал он, дело к морозу, кажись, идет; и так же трезво понял, что скорее всего не получится это у него – не дотянет, свалится... В дом заглянул, жена где-то всё в соседях прохлаждалась, сплетница, своих горей-забот ей не хватает – чужие подавай; налил ещё, выпил и, зажевывая на ходу хлебом с куском старого желтого сала, ко двору опять подался. В большие щели заборишка своего в одну сторону улицы глянул, в другую – нету Манохи, продвигал. В другой бы раз, не сейчас, и посидеть с ним можно, послушать, как городит он всякую «за политику» чепуху, поддакнуть-подбрюкнуть, посмеиваясь, а то и подзадорить, сказавши, что «гарант» и не знает, может быть, как оно тут, внизу... И вышел, чувствуя, как от обжигающей, тупо уже давящей тяжести внутри мутнеет в голове, но с пущей четкостью проясняется в глазах всё окрест, особенно же в чистом воздухе даль, полузадернутая снежком пашня на взгорье, призывно синеющий лесок за нею...

Обочь калитки стоял Юрок и глядел на него – как-то низко морду опустив к земле, так что еле они проблескивали, глаза, сквозь свесившуюся с ушей и лба грязную нечесь.

– А-а, ты, што ль... – сказал Ерёма, не удивившись ничуть; и не такие, знал, номера выкидывает, чудесит судьба. – Эт-ты как это... умудрился?

Юрок хвостом даже не шевельнул и не сел, все боком стоял, только заметно насторожился. Ерёма повертел недоеденный хлеба кусок, бросил ему и к скамье шагнул, сел сам. Пес подошёл к хлебу, понюхал и, поперхивая как-то, съел.

– Дела-а... – Помяло шею-то, сразу отметил он. – Что ж мы теперь чумичке скажем, а? Не справились, скажет, с соц, это самое, обязательством. Мол, велено было – а вы что?! Кирька,

пог-ганец!.. А это... а что нам баба, вообще-то? Хрен с ней лается... ага?! Мне все её приказы, знаешь... Как поднесу, – он сжал кулак, большой, бугристый ещё, показал его собаке, – так... Вот мой приказ, и никаких. И пошли все на... – Болтливость напала, это он за собою знал. – Ладно, живи. Два раза не... Я сейчас тебе пожрать. Пошли.

Зашёл на кухню, отрезал большой ломоть хлеба и, обмакнув его прямо в кастрюлю со щами, вынес. Но во дворе собаки не было... ага, за калиткой ждёт, на улице. Не верит.

– И правильно: не верь. Никому, слышь, никогда. Нашему брату верить, знаешь... Хуже человека говна нету. Найти б, кто его делал – я бы сказал... Шнурок порвался, што ль? – Пес ел, перхал, судороги, похожие на рвотные, прокатывались по всему его телу. – Ничо-о! На вас, слышь, это... как на собаке, да. – И засмеялся, голову клоня к коленям, мотая головою. – Зарастё-от! А и то: жрать, может, помене будешь, а то ж как боровок метёшь, что ни дай. Гуся он захотел, шваль такая... а верёвки не хошь? Попробовал? Гуся я и сам не ем – детям, это самое. Унукам. – И покивал себе, посмеялся: Фирюза ест – и гуся одного с курчонком стрескала по осени, и сметаны не счесть, масла, яиц, – что под руку подвернётся с похмела... жирует, сука хитрожолая, не зря два уже раза её поджигали. А на Троицу велосипед, старшим внуком из города привезённый (как-никак четверо их, внучек и внуков, и всё-то лето отираются тут), со скрипом согласилась татарка принять, еле уломал, совсем что-то пенсию застопорили тогда, а тоска лютая была... Внук и углядел, перехватили Ерёму со «Школьником» уже на дворе у самогонщицы, крику было. – От-так-от она, гусятинка, – увидал Москву?! – Помолчал. – Што хоть увидал-то? – Ещё помолчал. – Интересуюсь. Было б што – я бы тут не задержался... Молчишь? Или это... шиш да кумыш?

Слушал ли, не слушал его Юрок – но только, доев кое-как, повернулся и пошёл неверно, неуверенно за угол подворья, всё так же низко, едва мордой не тыкаясь в снег, голову держа, – на зады, в соломе где-нибудь отлеживался, небось.

На другой, что ли, день – все они тогда слились, дни, в ком какой-то слиплись, банки-то все-таки вывез он, – Кирыку увидел, допросил, и всё стало куда как ясно: подвесить подвесили, околел, ползали там, а как уходить от комбайна – кто-то чикнул ножичком шнурок, не оставлять же так... Жена, новость узнав, беззлобно бросила: «Черт-то с вами, всё равно подохнете!..» Одна у ней музыка; и злоба бросилась в голову, в запрядавшие руки, табуретку с железными ножками схватил, запустил в неё, у печки с растопкой возившуюся... а не попал толком, жалко. С криком – «ох-херел?!» – она выскочила за дверь, откуда прыть у старой взялась, а его всё трясло: сама первой от мотора коньки отбросишь, стерва... забыла, как синяя валялась?

Отошёл Юрок, откашлялся только к весне, когда уж травка всякая повывлезла – ею, может, и пользовал себя, по несколько дней пропадал где-то; шея, правда, ещё плохо поворачивалась, и морду низко держал, но время долечило и это. Дичиться перестал, считай, только гладить себя уже никому теперь не давал, даже внучатам Ерёминым: либо увертывался и отбегал, а если удержать пытались – рычал с хрипом и нервностью, зубами воздух цапал, ляскал в опасной от рук близости, куда вся обходительность былая подевалась. Оно и понятно, разве что уж дураку такой урок впрок не пойдёт – а какой же он дурак.

IV

– Не-ет, что-то здесь не так, – на остатках увлечённости всё сомневался ещё приятель Максим. Само определение это – приятель – как нельзя лучше, кстати, подходило к их давним уже отношениям: всегда-то приятен был Гущину, даже и в пору их жестких до враждебности разногласий, – свойской натурой, может, подвижностью душевной, искренностью самой, его и за врага-то было трудно счесть, сразу угадывалось: свой дурит... Мелким бизнесом теперь, как принято ныне туманно выражаться, промышлял себе хлеб с маслом насущным, без масла грозило вообще из интеллигенции выпасть, и перепродажа старья компьютерного далеко не самым худшим делом было. – Умный же, значит...

– Жизнь не такая? Среда заела?

– При чём тут жизнь? Подход не тот, в принципе. Подход нужен свой – и к человечине, и к собачатине, разница не так уж и велика.

– Ну в чём дело: бери Юрка к себе в город – отдадут за милую душу да ещё спасибо вдогон скажут... Ищи подходы.

– Ну ты уж сразу так...

– А как? Если, как ты говоришь, в принципе?..

Вот этим и кончаются все наши интеллигентские разговоры. Впрочем, один – десятилетиями тянувшийся, кухонный, – Манежной площадью закончился, невообразимо глупой. «В мозгах туман, в кармане фига» – это о нас. Фигу вынули, показали, туман сгустился в нечто неудобьсказуемое, в прокисшее яблочное пюре – а дальше, спросить, что?

Ерёмина же быта, как формы бытия, наглядевшись за несколько этих дней, он вообще «не воспринимал», вот ещё словечко... А ты воспринимай! – не сдержалось, сорвалось у Гущина, – восприми! Это ведь ты, вы же, интеллигенция потомственная, раскулачку с голодухами устроили, отца-матери лишили его, в детдом полубандитский засунули. Вы ему вместо имени кличку идиотскую присобачили и Бога отняли, из дерева живого, раскидистого – прямо столб тесали, топоров и рук не жалеючи. И вот карабкался он всю жизнь – из детдома в фэззу, оттудова на шахты, в казармы флотские потом, на целину в палатки да бараки совхозные, где только не маялся, не бездомничал. Даже в тюрьме, бабка Ная говорила, побывать успел – правда, недолго, за мелочёвку какую-то... И вот выкарабкался вроде, на «Кировце» – серьёзной машине работал, какую не всякому же доверят, не лучше, может, но ведь и не хуже многих вкалывал, детей каких-никаких вырастил, с именами своими, а не с кликухами вашими погаными, сам обрёл имя наконец человеческое, русское, – и тут очередная вам пришла-припала идея, теперь уж корыстная изначала, опять всё наоборот перевернуть, социализм свой недоразвитый на капитализм ему переменить, снова с западу завезти чужое, несродное... И рухнуло всё к чертям, что он строил-обживал, во что жизнь свою выдохнул, и опять он из-за вас же, паскудников, имя потерял, Ерёмой стал... запил-то, бабка Ная говорит, лет восемь всего назад, десять ли, как грабёж ваш в самый разгар вошёл, когда уж безнадёга задавила. А снова карабкаться ему уже и сил не стало – изработали его, измахратили и с пенсией смешной выкинули... А ты в Белокаменную делегатом катался к Манежной вашей, в раденьях там орал и трясся с девственницей Новодворской, с Боннер – и ты ж его теперь, видишь ли, воспринимать не хочешь, брезгуешь... Ты – это и лично, и опосредованно, сословно...

И добавил: да вот меня ещё на грубость, на пафос прописной спровоцировал. Маяться теперь буду: хозяин, а гостю грублю. Уж прости, сделай милость.

Надо ему должное отдать, слушал он довольно спокойно, самоувлечением болевший – успел все-таки подлечиться, времечко лютное помогло.

– Виноватых искать – ничего не найти, – вполне рассудительно сказал он. – И, само собой, никого, все мы – жертвы, один другого стоим. Но зачем опускаться-то, образ и подобие в себе гробить?

– Не оправдываю, – ещё ставил тон Гушин, – не судья. Он, по крайности, реальной жизнью своей живёт, каким она его сделала-изуделала, – а мы? Какой ещё идеей очередной, завиральной? Костоломной – на меньшее-то не согласны...

– Вот и я говорю: а чем мы-то лучше иль хуже? Стоим друг друга... – улыбнулся он, и Гушин махнул рукой.

Во дворике своём сидели, когда приступил как-то под вечер к ним Ерёмин, – совершенно трезвый и, главное, оттого не скучный совсем, глазки посматривали бодро, знающе. Сопровождавший его Юрок первым делом, конечно, помойку отправился проведать, а хозяин его к ним подсел, ногу на ногу закинул:

– Ну, как там ваша политика?

– Так она такая ж наша, как твоя...

– Да мне-то она... Если им там всё по хрену, то нам и подавно. – Но сужденья-то, когда изредка заговаривал о ней, выдавал довольно верные, здравый смысл терял разве что в сильном, совсем уж угарном хмелю. – Не хотят они добра нам, это-то понятно...

– Не хотят или не могут? – Это приятеля интерес взял. – Разница все-таки.

– Как это – не могут? Хотенья нету... Другого не пойму вот никак: почему-эт мы стали им не нужны? Мы ж хоть работать, там, воевать как следоват, хоть што. Сталину вот нужны были, Хрущёву там, другим тоже, Черненко даже-ть, – а этим... Ни построить ничего для дела, ни порядок хоть какой навесьть... Што им надо-то?

– А ведь вопрос? Вот смотри, – стал загибать пальцы приятель. – Государство стоящее им не нужно, всё сдают, что можно и чего нельзя; народ сильный и сытый, здоровый – тоже, родина... ну, это совсем уж смех. Где у них наворованное лежит, вестимо, там и родина... Власть – да, но для чего? Ради «зелени» только, кайфовать? Но это и не власть уж будет – без силы, смысл её теряется тогда, утекает...

– Ну, они-то этого и не знают, скорее всего, – сказал и Гушин. – Откуда им знать, если они её, настоящую, в руках не держали? Дяди чужие держат, давно.

– На то похоже. Дяди янки-янкели.

– А этот, совсем уж маленький, пришёл... он што? – Ерёмин снова полез за куревом, размял сигарету, переводя вопрошающие и с некой иронией глаза с одного на другого. – Четвёртый либо уж пятый год говорит, говорит, а... Вот чего ему-то надо?

Они как-то согласно пожали плечами – в самом деле, чего?

– Сдаётся мне, хату где-нибудь на Лазурном берегу, – невесело и скорее желчно даже проговорил приятель. – Ну и свечной заводик ещё, в приварок к пенсиону. Сам же его назначал алкашу – как себе... Отработает заданье – и на покой. Не-ет, ждать там, в смысле желания и воли, нечего, что ни скажет – всё наоборот творит. «Мистер Наоборот». Не хозяин себе, если хуже не сказать.

– И большая?

– Что?

– Ну, пенсия-то?

Со смеху чуть с ящика не свалился приятель, на каком пристроился напротив:

– Маленькая!.. Что, боишься – не хватит ему? Нам вместе всем в три года не пропить, даже в ресторациях.

– Ну уж... – не поверил Ерёмин, и не без юмора на свой счёт.

– Да-да. От белой горячки окочуримся, запросто. – И посерьёзнул. – А беда главная у нас – народ как-то обессилел... Обессмыслел, да, задичал. А без народа сильного откуда силь-

ной власти взяться, реальной? Вот она и тусуется там, наверху, дрянь человеческая всякая, случайная...

– А ты её мерял, силу? – выговорилось это сухо у Гущина. – Чем?

– Это, брат, шкурой чувствуешь, лучше прибора нет.

– Ну, шкура – это инстинкт. А пора б уже нам и разумом брать. Сила народа любого – в элите его, согласись, в национальной. Продала нас номенклатура, предала и тем самым перестала ею быть, элитой. Мы и остались без царя в голове... силой без направленья, считай, без цели. Ты вот стань ею, элитой, а потом народ хули.

– Как это – стань?

– А так – в борьбе, в жестокой причём. Только так и рождается, даром никому не даётся. – Все-то мы вроде понимаем, опять подумалось ему, а как до дела... – Сроки нас жмут, вот что плохо. Сроки. Не запряжём, боюсь.

– Да-а, всё та ж телега, то же тягло... а интересное слово, правда ведь: тягло?

– Кому интересно, а кому и... – начал и недоговорил Ерёмин, поглядывая на обоих, слушаая. Он-то, по всему, знал, что за словом этим.

– Вот именно! – совсем уж по-своему понял его приятель Максим. – А мы всё спрашиваем, что им надо... Тягло сбросить, вот что – с себя! Награбились и, в натуре, по новой решили жить, козлы, с чистого листа: всё позабыть, что было и не было, всю эту историю с географией, с отцами-дедами... не бабушки – бабки одни у них на уме да бабы. От бешеной деньги взбесившийся частник! Нет, но каково задумано – по новой, с нуля и вне зависимости от какого-то там народа!.. Табула раза этакая в серых мозгах, подчистили – и монгольский скачок из недостаточно ими же развитого социума, да не в капиталистический, нет, а через оный прямо в постиндустриальный... да и на кой им индустрия, скакунам, когда спекуляция куда рентабельней? Да, в постмодерн прямиком, в замки-особняки свои феодальные одновременно, а мини-запад и на дому распрекрасно можно обустроить, со всеми его прибабасами. И обустроили же – апартеид себе, отдельное проживание! А нам – Африку с морозами, чтоб не заспались, резервацию в одну шестую суши... нет, оцените! А главное, кто?! Ничтожества же, отбросы нравственные!..

«Дозрел наконец...» Потянуло вслух сказать это, но вовремя придержал себя Гушин, незачем дразнить человека, он же не нарочно. Как томаты-помидоры дозревают низовые наши демократы, краснеют, если не совсем уж гнилые, – но и толку от этого теперь, считай, никакого: поистратили пыл-запал свой на разрушенье, а вот на созидание новое уже и не хватает их, не осталось. Да и разучились, избаловались, ломать – не строить... Силён сатана на энергетике дураков выезжать.

А тут вернулся с обязательной инспекции Юрок, волоча поземи лепехи и ошарушки свои, улегся поодаль и воззрился на них: о чём вы тут?

– С променажа по помойке изволите-с, бастард? – спросил его приятель. – Ну и как они-с, отбросы, – самый цимус?.. Вы его хоть... постригли бы малость, что ли, а то грязней грязи.

– Да-к, а не даётся если, – равнодушно сказал Ерёмин, о чём-то своём всё думая, глядя перед собой. – Хотели унуки, а... И так хорош.

Да, раньше хоть раз в году, да удавалось ребятам на каникулах остричь, в какой-никакой вид привести его. Теперь же руки не подпускал, опростился дальше некуда, вот уж действительно – запсел и стал тем, кем стал. Кем стали и мы, впрочем, сами того вроде не желая. Но это ещё вопрос, желали или нет.

– Это жизнь разве? – проговорил Ерёмин, всё так же в себя глядя, что ли, в тоску свою. – Чем так жить...

– Значит, по-другому надо. Жить, – уточнил приятель, чересчур, может, пристально посмотрел тому в избегающие глаза. Явно чересчур, потому что Ерёмин, при всей запущенно-

сти своей, при слабостях и грехах премногих предпочитавший обыкновенно ни с кем, кроме бабки своей, в конфликты открытые не лезть, не связываться, на сей раз поощерился недобро:

– Вот спасибо. А то мы неуди тут, не шурупим ничего...

– А я не тебе одному, себя тоже не обхожу любимого. Это всех нас касаемо. Время проживать, резину эту тянуть – не задача... и Юрок вон думает, что живёт. Как – существуем, охломон?! – Пёс в ответ зевнул – с каким-то подскуливанием. – Вот именно, существуем лишь – и хрена ль, в самом деле, в твоём уме! А вот человеком остаться... Останемся если – и из этого дерьма вылезем: ну, не сможет нормальный человек долго в нём... пребывать. Не от ума большого – из отвращения просто, из-за рефлекса безусловного, инстинкта чистоты выдираться начнёт. И выдираются, кто малость опомнился уже. Что-то другой пока не видно у нас дороги – да и нету, похоже, другой... Выправляться надо, раз уж покривило.

Нет, но как заговорил!.. А то ведь опять было воспрянувши, когда этот, по словам Ереминым усмешливым, совсем уж маленький пришёл, – как расписывал, какие надежды питал! Как на Юрка, вот-вот, разве что опущенность и грязь там несколько иного фасона и колера, только и всего. Энтузиазм легковерия – так можно это назвать? Любого Отрепьева нам подавай, хоть голого – непременно в свои надежды-одежки обрядим, разодедем. Или мы сами такие, или это вбили в нас его так, энтузиазм, чуть не в гражданскую обязанность вменили, простецам, что никак всё не выветрится он?

Так ли, иначе, но слова-то его теперь вполне разумны были, под ними и Гушин подписался бы и сам наговорил ещё, это-то мы можем... ну, пусть пока слова только. А воследует ли дело – тут уж не иначе как самому провидению решать, если своих на это смыслов и энергий не хватит. Если суммой наших бестолковостей, по замысловатому закону больших чисел, не станет вдруг хоть какой-нибудь толк.

Но, видно, заело Ерёмину; и не пустячное это, внешнее задело, ему-то не привыкать было не то что к взглядам косым или всяким намёкам – к ругани самой распоследней, когда совсем уж в ничто его ставили... да потому хотя бы, что разумел-то себя каким-никаким, а все-таки «ничто», и много чести им всем – в обиду себе это принимать, брань на ворота не виснет. Уж получше некоторых умников-разумников местных скумекает, что к чему, каких походя иной раз облапошивал в рассуждении, чего бы выпить, такие комбинации-многоходовки выстраивал с учётом всех тонкостей психологических и особенностей партнёров невольных своих, Гушина в том числе тоже, что только крякнешь, лопухом себя с запозданием обнаруживши...

– В косой избе и сам скособочисси... куда выправлять? – сумрачно сказал Ерёмин, сплюнул густой табачной слюной. И решился вдруг, глаза поднял, мало сказать – неприязненные, глянул прямо: – Я – по тебе – нелюдь, что ли?..

– А это каждый сам себе отвечает, кто он. – Нет, ничуть не растерялся приятель Максим, в чём другом не преуспел, но в этом-то – в дискуссиях собачиться – поднаторел, зарядились надолго мы этим теперь. – В человеке понаmeshено, знаешь... О венец творения! О придурок!.. А вернее уж – монстр, соединенье несоединимого: дух вышний в тело животное всажен, в узилице подземное, inferнальное, а душа меж ними наразрыв... Я бы, вот ей-богу, на субъектов ежедневного телешабаща глядя, мог и диссертацию накатать, защитить – под названьем «человек как козёл вонючий» или в этом роде что-то... серную вонь имея в виду, да, и симпатичное парнокопытное здесь ни при чём. Вот каждый и решай за себя, кто ты. Но и решить-то до конца, как братья-хохлы говорят, нэможно: сейчас человек человеком ты, а через... полчаса там или полдня – не то что зверь, а несусветно хуже, звери с нами рядом – детишки малые безгрешные. Вот он, типус, глядит... Ну, что взять с него, что он глядит? Это кажется ведь нам, что глаза; а вообще-то так, гляделки... С мукой человеческой не знакомые ничуть, да. Это не ему – нам выправляться по духу. Нам это – через «не могу» животное тварность свою превозмочь, одолеть, к нетворному выйти... да-да, дух в нас нетварен, изначальный он – был и будет. – Зачем это и кому он говорил такими вот словами – Гушину, от которого, кстати, и под-

набрался отчасти этого? Или Ерёмину все-таки, какого не уважил, не сказал же: нет, дескать, не нелюдь ты... Как там ни костерили того на всех деревенских углах, но ум-то признавали за ним и, пожалуй, опасались, настоroje привыкли быть, а это ему, само собой, не могло не льстить... нет, мелко человека не кроши, какого ни возьми. Не оценил, за обыкновенного счел алкаша по неведенью; а с другой стороны, мог наверняка спросить тот же Максим, что в нём на Руси необыкновенного-то? И чёрта ль, как уже сказано, в уме том? – Выпрямлять себя, другого нет. Русские мы или нет?

– Ага, выпрямимся... когда в переднем углу лежать будем, – проговорил Ерёмин, с видимым-таки усилием обходя по привычке обиду, усмешкой щерясь в пустоту, ни начётчику нимало не веря, ни себе. – А там хоть собакам бросьте, один-то хрен...

– Ну, так уж и собакам... Тело земле, а душу – Богу. На разборку. Вот когда нам скверно-то будет...

– Это што ж – ещё, значит, хуже?

– Ещё.

– Да куда ж хуже-то?! – Он удивился и разозлился даже – будто впервые о том слышал... Нет, конечно же, всю-то жизнь слышал, как ни штурмовали мы небеса; но каждый раз будто внове человеку это, когда раздумается над таким, всякий раз в обиду ему, забывчивому... Да и то сказать: ну куда? – Оне что там, совсем уж?..

– Значит, есть куда. – И обернулся к Гущину: – Ничего-то не получится у человека, что он задумал, – ни добром не получится, ни злом великим. Так и будет всё идти, с переменным безобразием. С перманентным. Потому как монструозен, лебедь, рак да щука... в одном флаконе. Что ни делай он – какофония выходит вместо гармонии. Только в игре, может, что-то удастся – ну, в искусстве. Игрунчик же. Или в философии своей, детской тоже, ещё та игрушка... Мир создан, вообще-то, для молодых и сильных дураков, каким всё пока по барабану, а думать некогда, к тому ж и нечем ещё, – совсем уж повело его всё в ту же философию, но явно любительского толка. – А как раздумаешься... Сама жизнь – зло неиссякаемое; и если существует как ценность, продолжается, я вот думаю, то лишь потому разве, что видимой всеми, реальной альтернативы ей нету. Выбирать не из чего, – сказал он и Ерёмину, – лопай что дают. А иначе поразбежались бы все из неё – к чертям! А верней уж, от чертей, слуг её тут и подельников...

– Я бы первый, – вроде как пошутил и Ерёмин. – Да-к, а это... за побег-то, гляди, ещё навесят? К срокам-то? Тут подумаешь.

– Ох навесят! – с удивлением, с восхищением почти глянул на него, подхватил приятель. – А вот и зря, скажут, бежал – из камеры, получается, да в карцер. А на-ка довесок тебе – с высылкой и пораженьем в правах! Из огня да в полымя, так и есть... Не-ет, запрет древний здесь, многослойный, я бы сказал, с подстраховками со всякими – захочешь, да не уйдешь. – И заорал: – Д-солнце всхо-одит и захо-одит, а в тюрьме моей темно-о!..

– Ну вот,дорассуждались... – Гущин встал, посмотрел на них, невесть с чего повеселевших, с неудовольствием качнул головой. – Синдром безработицы у нас, как я погляжу, явный. Занесёт же.

V

Наутро Максим, удочки прихватив, на речку отправился налегке. Гущину же в город надо было смотаться на полдня, семью навестить, которая всё никак собраться не могла, в деревню выбраться к нему, хотя уж дней десять, как он в отпуске тут; заодно и на работу по делу заглянуть, в техникум, где всю «гуманитарку» один теперь преподавал, – нечего, порешили в верхах, гуманизм разводить в пролетариях... Не спохватиться бы им. А то ведь может и не хватить его на них, в случае чего.

На пути возвратном забарахлил движок машинешки его старой, провозился с зажиганием и вернулся лишь вечером. Во дворе встретила его уже тепленькая-таки компания, Максим с Ерёмным и по какому-то, видно, случаю заглянувший Гуньков, Гуня по прозвищу, мужичок средних лет, давно с Гущиным водившийся заядлый рыбак... и что, в самом деле, за тяга у нас к самоуничтожению этому, кличкам – смиренье паче гордости? Сидели за сооруженным на скорую руку из ящичков и досок столом с жареной рыбёшкой, и Максим уже вторую бутылку водки открыл – на свои, похоже, угощал.

– Как ты это в-вовремя, – сказал Гуня, он зайкой был. – А т-то уж оставить тебе хотели. Д-давай.

– Дак-к и што там Москва? – допытывался Ерёмин, заметно хмельной, но никак не веселый сейчас, с отяжеленным какой-то заботой лицом, только пронзительно как-то, стеклянно голубели требовательные глаза.

– Сдала нас давно Москва. Жирует как никогда, гужует. Холёная стала, как... дорогая проститутка. Похоже? – обернулся Максим к подсевшему хозяину. Тот согласно – что подделашь, мол, – развел руками. – Нет, я теперь туда не ездук. Не хочу. Чего я там, спросить себя, не видел? Синедриона мошенников – квазиполитических? Балаган театральный с киношным, ржущую и жрущую России красу? Или с Пушкиным рядом, на Страстном, – Новодворскую, эту, как вот друг наш и хозяин говорит, девственницу?

– П-почему, – искренне удивился Гуньков, – д-девственницу?

– Ну а кто позарится... на демократию такую? – усмехнулся приятель – над собою, сдаётся, тоже. – Нет уж, пусть без меня.

– И чево ж делать теперь? – не унимался Ерёмин, будто даже о водке забыв, нацеленный на какой-то смысл, который всё никак не давался ему; и морщил без того глубокие борозды на лбу под желтоватой изреженной сединкой, на запавших щеках, переводил вопрошающие глазки. – Жить-то как?..

– Так и жить. Ждать. Одна у нас теперь надежда и спасенье – жареный петух... Для неё, для белокаменной бывшей, – пояснил он. Выпил, и что-то горькой, что ли, показалась ему водка – мотнул головой, выдохнул резко, понюхал, потянул воздух с тыльной стороны кулака. – Нет, пока в жертву её не принесём, не смилостивятся боги истории. Не хотелось бы, может, а – надо. Не обойти этого. Да она уж и созрела для жертвы. Для покаянной для нашей, искупительной. Камнем же на пути сейчас, двигаться никуда не даёт – только к краю...

– Сами себе мы поперёк дороги легли, – сказал наконец Гушин, – колодой... Для себя неподъемны. Дури в нас – не расхлебать, а вот дела... Дотерпимся, что великой кровью все будем возвращать, – если вообще вернуть соберёмся.

– Эт-то да... А нам-то к-куда ж со всем этим? – Гуня обвел рукой поверх немудрёного гушинского заборчика – по округе, вразнобой и кое-как застроенной старьём, даже и свежее-то не новей восьмидесятых, и все больше сараюшками всякими, сеновалами и кардами-загородками, чем домами, со старыми копешками сенца-соломы и расползшимися кучами навоза на задах. – Пропадай? Рухается всё, гвоздя не купишь. За посевную д-два раза движок у трак-

тора раскидывали и собирали... это как?! А к-конбайны совсем наскрозь вон проржавели – чем хлеб брать будем? Свинюшку не п-прокормить уже...

– Ну, тебе-то малая забота, – отмахнулся от слов его, как от незначущего, хмурый Ерёмин, – сел вон да уехал... – И пояснил: – Да сын его зовёт, в город: квартиру купил, переселился, а домишко порожний стоит, хоть щас ежжай... Не хоромы, конечно, а жить можно. Какую-нито работёнку, да и живи... Не об нас речь. Не о том. Можно бы и потерпеть, а...

– И что не едешь? В город-то? – спросил и Гушин.

– А ч-чѐ он, город... чѐ хорошего? Не, не люблю там, не могу... Людвы кругом – п-пёрднуть негде...

Посмеялись, разлили по стаканам остатнюю, приятель кинул крутившемуся возле них псу рыбью голову:

– Лови кайф, морганатическое дитя... «Людвы»... Поглядел бы ты на метро «Комсомольская» в час пик! Сплошная по ступеням вша ползёт, камня под ней не видно. И всяк по отдельности, посмотришь, вроде не дурак, как-никак интеллектуальные из всей страны выжимки, – а вот вместе все... Не-ет, жертвы не миновать. И если б столицами одними обошлось... Эх, рожай меня, мама, назад!..

– Эка тебя... – только и сказал Ерёмин.

Неделю, вернув приятеля городу, доживал уже с семьёй Гушин в избушке своей: в огорожке копались, в верховья речки выезжали на пруд и к родникам, всякую собирали травку целебную; а тут пошёл небольшой, по дождям, грибной сезон, и было немало утехой бродить по комариным пролескам по грудь в ежевичном, дерущем одежку подгоне, на сырое меж осиновых верхушек и волглых облаков солнышко взглядывая, определяясь по нему, или по лесопосадкам окрестным, пропахшим сыроежками, а потом во дворе сидеть, покуривая, перебирая их, грибы, и свеженькие такие ж припоминанья, где и как нашёлся груздочек вот этот или семейка дождевиков, на жарешку их для разнообразия тоже брали. Вериться даже начинало, расслабленному, что можно же так вот жить и жить, не особо-то загадывая наперед и дни не считая, не изводя понапрасну себя тем счётом метрономным городским, а только на погоду оглядываясь да на дела, какие сами просятся в руки... И только, может, опыт твой, как зверь, бессловесно понимает иногда, насколько обманчивыми, даже опасными бывают такие вот затишья-утешья эти, памятуя уже случавшееся; настораживается тогда, ухом подергивает к недалёким для человеческого разуменья, насплошь мутным горизонтам событий, вслушивается в сугубую невнятицу предопределений, ничего-то в них не различая толком, – и малопомалу успокаивается, забывается в текучке ежедневной, суете...

– Дѐн уж пять, считай, как не пьёт... ох, не сглазить бы! – крестилась мелким крестом тетка Ная и говорила с оглядкой, почти жаловалась гушинской жене: – Не к добру чтой-то... Так уж потом сорвѐтца-то, так набедует – лучше бы уж помалу пил.

Угоди вот нашим бабам-женщинам.

В очередной раз собрался Гушин навестить город – продукты кое-какие подкупить, домой заглянуть, проверить: грабѐж квартирный давно уж вѐлся профессионалами отмычки и ломика вполне планомерно, с хозяйской, можно сказать, методичностью и, кажется, совершенно безбоязно, средь самого что ни есть дня; изрядная часть обывателей жизни ещё советским сном спала-посапывала, а у милиции и со своим гешефтом – крышеваньем комков, шопов и уличных базарчиков – было хлопот полон рот, не разорваться же... Вырулил на «копейке» со двора, и ему приветственно махнул со своей скамьи Ерѐма – да, трезвый аки стеклышко и потому несколько раздумчивый имевший вид; и Юрок, разделявший у ног хозяина его немалый пенсионный досуг, встал, потянулся задними лапами и сделал два – тоже с приветственной, должно быть, целью – шага и опять на брюхо прилѐг... ну, патриархальщина, да и

только: мирный дедок у завалинки с верным псом в ногах, разве что военного покроя картуза не хватает на голове да батожка в руках.

Вернулся, когда уже всё, чему случиться суждено было, случилось. На самом подъезде к деревне, с горки, увидел ещё дымящееся лениво, с остовом русской печи пожарище, зачадившее в безветрии всю округу, до сих пор синё по низинам было, стояло, и гарью тянуло по улице, но совсем не тою, какая по субботним вечерам от бань растопленных бывает, а острой, нищенски кислой какой-то, пахнувшей бедою. Бедность, она и чадит-то вонько как-то, едко, даже и огнём не уничтожается скорбный дух её – даже им, всеочищающим будто бы, преображающим...

«А всё поганец этот, щенок задереевский! – рассказывали досужие, отовсюду и помалу как-то вот дознавшиеся до подробностей языка, – ушлый до чего же!.. Залезть решил с компанией своей в домишко ветхий, от бобыля Манохина оставшийся: крещёный великим огнём когда-то, на Крещение же и преставился старик, на вторые лишь сутки хватились его – что это Павла-то свет Иваныча нигдешеньки не видать? И досталось Маньке в наследство тяжёлый от медалей многих и двух орденов пиджак, бросовое барахлишко всякое да жильё это, для житья едва пригодное, какое и продать-то мудрено...»

Ломиком пробой из трухлявого косяка выдернуть – это не задачей для Кирьки было, вот и устроили что-то вроде притона себе потайного: ворованное сносили туда, раздобытые самогон, одеколон ли пили, курили, само собой, да не что-нибудь, а травку некую, городской каникулярной пацанвой доставляемую, даже и девок непутёвых из одной тут семейки водили, – то есть в принципе-то, как приятель Максим изъясняться привык, мало чем отличался он от фешенебельного какого-нибудь шалмана в Палм-бич или на Рублевке; а если до разборок с кровцой не дошло, так это ведь дело времени и случая. Стайка не то что волчёншей, нет – подпесков без призора, дичающих на глазах отца-матери, при живых-то родителях, пустопожнее и едва ль не потерянное поколение каковых, полагал Гушин, наверняка войдёт во все анналы под определением «придурков истории», не иначе. И стайка эта всё ощутимей, беспокойней для невеликого селянского, гушинского тоже, имущества сбивалась в кодлу – попростодушней, может, чем это в городах бывает, но тем-то не менее...

По пьяни, что ли, но кто-то из них заднюю калитку не закрыл, через какую «на хазу» ходили, – и в неё-то забрёл спроста Федя преподобный. Ну и поразвлечься решили, раз уж случай сам выпал. Кирька, по своему пристрастью к пятнадцати годочкам ставший Киряем уже, набулькал в кружку самопалу, поднёс Феде: пей, мол, – только сразу... Тот и глотнул несколько раз – а кружку поддерживали, подталкивали, – закашлялся и зачихал почему-то, чем вполне понятное неумное веселье вызвал и балдёж. Федя гугнил что-то, бубнил то блаженно-весёлое, а то обиженное; сполз на пол, захламленный потом на окурки, свернулся калачиком и уснул.

Докончили самопал, завалился на продавленный диван и Киряй, себе как бугру он всегда наливал побольше; а трое нехотя бодрствующих от нечего делать старую потеху вспомнили – на Федю поглядев, сладко с открытым ртом спавшего, поджавши ноги, драные тапочки свалились с них, босых, донельзя грязных. «Велосипедом» называлась забава: подушку-думку под лобастой головенкой жожака подпороли, надергали клочков ваты, насовали преподобному меж пальцев на ногах и подожгли. И со смеху надрывались, укатывались, глядя, как дёргается и брыкается, корчится тот и мычит во сне, слюну пузыря, лапая ступни короткопалыми руками, обжигаясь ими и повизгивая... Полупроснувшись наконец и свету не видя от слез, обидчиков не видя и скуля по-собачьи совсем, повырвал вату, повыдергал кое-как, раскидывая в стороны её, обессиленно запрокинулся навзничь, взяв подошвами по полу и друг о дружку, подвывая, боль сбивая... А они, уже и смеяться-то не в силах, вывалились из задымленной едучей вонью горелой ваты, без того накуренной избы в сенцы и дальше во двор, оставив двери распахнутыми: пусть протянет малость, дышать уж нечем...

А выпитого, само собой, не хватало, стали ещё думать – где, пока не надумал, не решился один бражки добыть: на днях поставила мать, «затёрла» во фляге, и ежели дома не людно... Это уже идея была; и заспешили, забывши обо всём, пока ещё полуденная, подступившая опять жара и все отдыхают от не бог весть какого об эту пору обеда, только-только огурцы пошли.

Мать у фляги застучала своего с кружкой и бутылкой пластиковой; а отчего там занялось, от ваты ли тлеющей или, скорее, от фартовски шелкнутого спьяну окурка – теперь не узнаешь... Но с сеней началось, похоже; и с деляны картошки своей возвращавшийся и поспешивший на дым Ерёмин застал уже избу с полыхавшей вовсю, гудевшей чердачными огненными сквозняками крышей и реденькую во дворе толпу из ребятни да баб. И гомонили, и на голос уже срывались бабы – кто-то остался там, в избе, был там... Голосили уже, взывали – к кому? К небу этому пустому, белесому, будто выпитому зноем, к мужичонке в майке рваной, от колонки бегущему, топающему с ведрами полурасплескавшейся и здесь бесполезной теперь воды?

Только и спросил, кажется, Ерёмин: «Кто?» И вывернувшийся сбоку откуда-то, будто ждал, парнишка с готовностью доложил: «Да этот... преподобный этот. И Киряй тоже. Спали там...» Ерёмин спохватился, должно быть, что в руках у него тляпка, поспешил к выходящему во двор оконцу и ткнул ею в раму, пробуя, в звенья следом. Посыпались стёкла, и повалил оттуда серый удушливый дым – нет, ничего не разглядеть в нём и не залезть, раму если выбить, как и в наружные, такие ж небольшие и над землёй высокие окна, завалинки даже не было. Оставалась дверь, но пламя быстро отчего-то перебросилось наверх, односкатная из старого железа крыша сеней вместе с задним фронтоном загорелись, по всему судя, первыми, и в самих сенцах то появлялись зловеще, то пропадали чадные языки огня и трещало там, будто что поджаривалось...

И никому слова не сказал больше, насадил поглубже фуражку на голову и пошёл в сенцы, отворачивая лицо от тёмного ещё жара их, – и вошёл, нагнулся, приглядываясь там понизу, где не так чадно было. Но сверху просело что-то с хрустом, искрами и углями сыпануло вразброс, и он, лицо локтем прикрыв, шагнул ещё, запропал в дыму.

На удивление быстро, рассказывали, он Федю вывел, почти на себе волок – и вытолкнул его из двери, мешком на землю упавшего, перхавшего как овца и ничего, по всему, не понимавшего. И двинулся назад, в избу, – значит, и Киряй там...

Раньше его подоспевший к пожару Гуня в майке рваной и тут успел, подскочил с ведром и окатил вдогон спину его в пиджачке старом и голову, на что Ерёмин с матом отмахнулся – от неожиданности, может... И никто отчего-то, в какой потом раз пересказывая это всё, не удивлялся, почему Ерёма именно, а не кто иной пошёл, ведь набежало и мужиков тут же... ну, пошёл и пошёл. Не он, так другой бы, пожаром на Руси не удивишь, а раз один пошёл – что там другому делать, башку почём зря подставлять?.. И ещё всякое такое говорили и, в общем-то, правы были, разумники. Но пошёл-то всё-таки Ерёма.

И долго что-то, показалось всем, не было его – долго, а уж столбом пламени с дымом смоляным взялась рубероидная крыша самой избы и палящей стеною жара всё дальше отодвигало, отжимало толпу, уже и со двора выскакивали, хорошо – построек у Манохина рядом не было, лишь амбар старой каменной кладки и сарайчик, оба на отшибе, у задов... Но вот показался – на карачках, волоча по полу беспамятного, похоже, парнишку, дергаясь весь от сыпавшегося сверху огненного сора, пиджачок и штаны уж дымились на нём. Через порог переваливал тело, когда подоспевших двое, мужик какой-то и парень, подхватили Киряя под мышки и тоже волоком почти потащили скорей оттуда, к амбару.

А Ерёмин там с карачек вставал – не сразу, руками за косяк ухватясь, и всё ждали, что вот переступит он порог и пойдёт, наконец, побежит подальше от трещавшей уже и проседавшей пылающим решетником и стропилинами избы... и как только терпит там, вон уж листья даже поскрутило на сирени в палисаднике, на клёне поодаль обвисли тоже. А он, поднявшись кое-как, на них на всех глядя с какой-то странной, утвердилось потом в общем мнении, на

оскал похожей усмешкой на побуревшем лице, что-то всё медлил миг-другой, и непонятным, невозможным там было промедление это; к вдруг то ль оступился, то ли сделал шаг, затем ещё один – назад, шатнувшись, и будто провалился в густо дымящих, с проблесками пламени и вот-вот уже, казалось, готовых вспыхнуть разом сеньях...

Никто и не понял даже, что на их глазах случилось... неужто ещё кто там?! Не понимал никто и сейчас, не поймут и завтра, опять и опять думал Гушин, о чём-то сам догадываясь, но не желая пока или, может, боясь даже перевести догадки свои в некий связный дискурс, в мысли и слова, – всё равно неверными будут, не созревши, мимо таящегося где-то смысла, не о том, когда надо бы – о главном... Но что у нас главное теперь? И что может быть им в смуте русской? Противление злу – двойной природой обладающему, грубо материальной и виртуальной, которое везде и одновременно нигде, в недостижимости пряча кашееву иглу свою, в мороке напущенного на всех на нас равнодушия и недомыслия? Замахнешься – а не знаешь, куда и как бить, со всех сторон обступили они, до вполне материальной плотности и гнусности сгустившиеся фантомы зла и лжи, самой средою ставшие, в которой вязнет в замахе и обессиливается рука... Или терпение, должное великим быть и нечеловечески мудрым, чтобы дожидаться сроков, когда Бог переменит орду, и зло, переполняя всё мыслимые меры и немислимые, едва ль не наедине с собой оставшись и в мерзостях изнеможась, самое себя начнёт пожирать?

Пока солнце взойдет, роса очи выест, душу вынет.

Кирия рвало и корчило на траве как, скажи, припадочного, и это на какие-то мгновения отвлекло на него людей – когда опомнившийся первым Гуня, рукою в сторону избы тыча, выдавил крик, вытолкнул из себя: «С-сомлел! Сомлел он!..» – и пошёл неуверенно к сеньям. Но и десятка не сделал шагов, в одной-то драной майчонке беззащитный, как остановлен был напористым дыханьем огня, а его уж перегнал парень с мокрой на голове и плечах мешковиной, из творила погреба кем-то добытой, сунулся к входу. И тут оседать стала с треском и скрипом, проваливаться крыша избы, подымая тучу искр, пепла и обрывков копотного пламени, и парень попятился, мало бы кого тут не попятало. Сзади, однако ж, кто-то выбежал и взбодрил его, как перед тем Ерёмину, ведром воды; и тот – делать нечего – пошёл и нырнул, согнувшись, в дверной проём...

Только не прогоревшее ещё железо держало крышу сений, терпели пока и потолочины домишка, и наткнулся на Ерёмину он тут же, метрах в двух от входа лежащего – головою на избяном пороге. За ноги пришлось вытаскивать, по сплошному углищу тлеющему волочить, по земле потом. И даже малого знака жизни не подал он, голова его была разбита в кровь и обожжена – видно, на порог ею упал... Зашибся, не пришёл в себя и тогда, когда платочком, водою холодной намоченным, обмыть лицо попытались от крови и сажи, в тенёчке за амбаром на траве уложив, – нет, дышал вроде, но никакого отзыва, уже и не здесь был. Да и много ль, скажешь тут, старику надо, изношенному вконец? А изба уже и стенами, бревешками своими полыхала вся, высоко и торжественно завивая в жгуты токи раскалённого воздуха над собою, и только одна торчала-горела чёрная стропильная пара – ещё не сломленная, но ничего-то уже не удерживающая теперь.

И лишь когда бабка Ная прибежала колченого и упала, умудряясь голосить и ругаться разом, на грудь ему, глаза его на опалённом безбровом, поразбитом лице не сразу, но открылись. Долго смотрел, никак не отзываясь ни на что, а потом сумел всё-таки, собрался, еле губами потресканными шевеля, сказал ей: «Намучил тебя... ты уж забудь. – И ещё раз выговорил, напоследок: – За-будь...»

Но и память-то нам, сдаётся, не столько в наученье, сколько на мучение дана.

VI

За похоронами дело не стало, за молвой, за суждениями всякими тоже, и неявный вопрос гущинской – почему Ерёма? – во всех этих тарах-барах даже не ставился, опять же, смысла не имел. Кто-нибудь да нашёлся бы, знали, да хоть тот же парень, Гущину незнакомый; от пожара до пожара живём, не привыкать.

А вот жалеть жалели, хотя и не без прохладцы: ладно, мол, каким там ни стал Николай Лукьяныч, как ни покорило, а по жизни-то своё сделал – и ради кого вот, спросить, погубимшись? Чего доброго вышло? Феде, существу неисправному, родительский грех покрывающему, отмучиться не дал, в рай помешал отойти, в отверженный? А что уготован ему рай, в том у баб сомнений не было. К жизни этой негодный, он и так долго не протянет, это-то известно; и по сей день не понимает, небось, что с ним и с другими там случилось, а то и забыл уже, милосерден Господь к убогим своим.

И с отморозка этого, с Киряя, – ну что вот с него, опять спрашивали, какой толк? Очухался мигом, и едва спасителя его похоронили, как пойман был вместе с рыскавшим на грузовичке по округе закупщиком скота. За наводчиков и грузчиков, оказалось, работала у него ещё с весны киряевская шарашка: телят в деревне стадом не пасли, не было обычая и на кол привязывать где-нибудь на лужке, бродили себе где придётся по огородам, полям окрестным, по речке – лови с оглядкой да грузи... А то и в лесопосадке где-нибудь свежевали, и лишь по вороньей стае находили хозяева шкуру с требухой да голову от своего тела. Через день отпустили из районной кутузки как малолетка – а не надо бы, в открытую, в глаза незадавшемуся отцу досадовали люди, всю нам ребятню перепортил, дескать; и папаша виновато лез пятернёй к затылку и вздыхал, соглашаясь. А один из местных разумников и вовсе не церемонился: «Раз уж заделал, то доделывать надо, деток-то... Доделывать». Но как раз это-то мало кто из нынешних русских умел, давно уж и вполне был убеждён Гушин, и приятель Максим со свойственным ему азартом новообращенца подхватывал: «У родителей-дураков и дети дураки, всё логично. Систему воспитания нашего национального точнее всего, знаешь, квалифицировать мудреным таким иноземным термином, – и губы вытягивал, произнося, – samotök... мастера, надо сказать, они на термины. И продолженье романа тургеневского, будь он неладен, на век вперед нам обеспечено... Пролонгация авося нашего с небосем, да, недомыслия позорного, постыдного – кому детей своих отдали?! Нежити останкинской, голубым этим стрекозлам рока, шестиугольным звёздам голливудским, крошечным? Шерамыжникам оккультным?! Кому угодно, только не себе растим... – И грозился: – От детей своих, то ли мамлюков, то ль манкуртов, и примем кару!..» А когда не были они ею, карой? Ох нечасто.

И что он из огня спасать полез, Ерёма, и кого – безумного да дурного? Сам скособоченный – Киряя, которому навряд ли уж теперь Кириллом стать, разве что на судебном каком процессе назовут? Тщетою было, тщетой и кончилось?

Или, как о том бабы толковали на поминах, – какая там ни душа, а живая? Живая, в этом-то не откажешь.

Но больше всего разговору, догадок-гаданий всяких крутилось вокруг того, последнего... «Сомлел! – решительней всех был Гуньков. – З-зенки повылезут, такой жар!..» На это качали головами, говорили: «Не знай, не знай...» – будто даже боялись знать, женщины в особенности, иная суеверно крестилась... что-то неладное чуяли, да, но выговорить вслух не решались, переводили на другое, на то хоть, каким он в последние перед тем дни был, едва ль не у каждой нашлось что сказать – ну, задним умом-то мы все богаты. «Смурной какой-то ходил... а и с чего бы?» – спрашивала одна, сама пенсию получавшая, ждавшая как манны, и всё понимающе кивали и наивность её не оспаривали. «Один вон всю картошку пропахал...» – малость невпопад, на поминальный подавая стол, добавила слёзно бабка Ная, как бы и забывшая уже все

горести свои с покойным и свары, более всего другого, кажется, дорожившая теперь последними словами его... Интуитивно верно дорожившая, не сразу оценил Гуцин: вот в них-то, последних, и вся правда, вся подневольность жестокосердому ходу времён и вещей, судьбиной у нас именуемая, а всё остальное лишь детская наша тоска по чистому, и куда только ни заводит она, тоска...

«Ну, он всё умел, когда захочет-то, научила жизнь. В ремонт станешь – к нему: подмогни. Трактора все как свои знал, на слух угадывал: ага, скажет, никак Григориваныч едет. А это, мол, Николашин завёлся... – отделивались общим мужики, игрушечные в их корявых пальцах стаканчики приподымая невысоко. – Ну, грешным делом, это... помянем». Каким-то огрехом сплошным оборачивалась жизнь сама, всякое дело её, действие, и смутно было у всех на душе, недоговорённое и недодуманное вязало язык, мысли, связывало все потуги человеческие хоть что-то понять в происходящем, найти опорное в зыблящейся вокруг среде, какую и действительностью-то не назовёшь, настолько неверно, обманно в ней всё, посулится одним – а обернётся иным совсем, наизнанку издевательски вывернутым, неким оборотнем, блефом бытия самого... И с человеком, которого только что вот закопали, тоже грех какой-то случился, многих других его потяжелее уже потому хотя бы, что последним был и нераскаянным, об этом бабка Феда преподобного с жалостью обмолвилась потом у калитки и тут же, спохватившись, закрестила испуганно рот, сами эти слова свои... догадлива бабка, да ведь и догадки на грех наводят. К завету «не клянись» нам бы, может, прибавить и другой – не гадай, не пытай судьбы и жалкого разуменья своего...

И что там увидеть, усмотреть мог в лице его, в глазах каждый из тех, кто толпою зачарованно-беспомощной торчали на дворе и задах перед горящей чадно манохинской избою, – когда оступися ли он, отступил ли в нахлынувший, откуда-то снизу, из-под земли будто огнисто-рыжим подсвечённый дым? Разве что сомненья свои на сей счёт узрел каждый – и только, и не иначе, больше-то навряд ли разглядишь в другой душе, во владеньях муки чужой и непониманья рокового, за что же казнят её, душу, и казнится она сама... Да и заподозрив даже неладное и к себе примерив, кто поверит? Ну, повеситься, на худой конец, утопиться ли, но – в огонь?! Нет, страшны где-то в глубине своей и страстны тайны жизни, и душно в мире, совсем уж сперто стало, как перед Божией грозой, и напрасно спрашивать, чем разразится она, разрешится в неразумии извечном людском, самоновейшим безумьем уже ставшим. Только ждать осталось, надеяться – на нечто спасительное, некогда обетованное, но, по грехам нашим, уже и невозможное почти...

Не поняли, не разглядели они, не дастся это и резонёрству твоему пораженческому, сознался наконец он себе. В самом деле, скажут, что толку безумцев спасать, какой резон? Бедствующие страстно, они и беды-то своей не понимают, чаще всего не разумеют, и страсть спасению предпочтут, и за грех мимолётный вечность отдадут, душу, не стать привыкать, не надобно и змия.

Но кого и спасать, если не их? Не нас – от себя самих?

Рыжок совсем растерялся, нервничал, даже и лаял на входящих во двор с подвизгиваньем каким-то, скулежом, так что в сарайчик его пришлось запереть, а накануне похорон повыл маленько. Но не для Юрка, псины трезвой, эти сантименты были; и хотя не мог совсем уж не поддаться общедворовой подавленности и скорбной той суете, но рассудил, по всему судя, что кому-то и поминки должны за праздник сойти, пусть и невеликий. Банки из-под рыбных для поминального супчика консервов, за крыльцо выброшенные, оприходовал, вылизал, всяких остатков со стола хватало, единственному поросёнку собираемых, он и к этому ведру в сенях сумел за толкотнёй и хлопотами людскими пристроиться, – нет, нечасто такие праздники Юрку выпадали. Даже и хозяйка как-то вот заметить его смогла, людей проводив, блинец вынесла, кинула на крыльцо: «На, што ль, и ты помяни...» – и хоть уже не лезло, а съел, не обижать же.

Но и невесело стало теперь – при том, что никакого особого веселья от хозяина и не было никогда, не дождёшься, разве что по пьяни когда понапрасну дразнить попытается, хотя знал вроде, что с Юрком эти штучки не проходят; а чаще доводилось до соседской какой лавочки сопроводить его, на травке обочь посидеть, умный разговор послушать, вот и всё развлечение. И вот какая-то потерянная в нём обнаружилась: вознамерится куда идти, вроде б и направится уже с решительным и сугубо деловым видом – и вдруг станет, оглядывается, словно припомнить что силясь... и повернёт, к хозяйской пустой лавке подоконной побредёт, волоча по пыльным лопухам сосули свои и лепёхи. Бывает, и на гущинское подворье с тёткой Наей заглянет, и помойку навестит, само собой, но нехотя как-то, больше по обязанности некой, привычке – не то чтобы к шамовке, едалову всякому, но будто к суете выживанья самого изрядно поубавился интерес. Как осиротел, таскается по задворкам бесцельно навроде Феди; иной раз на дорогу безлюдную выбредет и остановится, понунив голову, и стоит так долгое, томительное в совершенном бездействии время – совсем как человек, не знающий, куда ему идти... А если и взбодрит когда себя, остервенится, то лишь накоротке, на какую-нибудь особо докучливую блоху у себя в шкуре. Да и то сказать, успел состареть за эти беспутные, через пень-колоду, и не для него одного прокормом единым озабоченные до самозабвения, прокормом обкраденные и донельзя испохабленные годы.

А хозяин его... Тишину ли избывает, покой вовек неизбывный, или долгожданной, наконец, истинной жизнью своей живёт, дышит грудью полной – кто скажет здесь? Как и того не скажет, почему промедлил он, если в самом деле промедленьем было это. В том не людям он покается. Ну, оплошал, не поторопился в жизнь опять эту, мало ль оплошек бывает у здешнего человека. Как ни суди, а в этом-то куда легче покаяться...

Звезда моя, вечерница

1

Это не было дымкой сухости, мглюю ли тонкой облачной, какая с темнотою, бывает, затягивает незнаемо откуда и как небо, гася по-летнему тусклые и теплые звезды в едва угадываемой мерклой вышине, неся с собой какую-никакую прохладу перегоревшей, ископыченной суховеями степи, истомленной огородной ботве, осаживая прозрачную, невесомую в закатном воздухе пыль, возвратившимся стадом поднятую горьковатую страдную пыль второго Спаса, какой дышат поздними вечерами, в какой забываются беспмятным сном усталые селенья.

Не было очередным газовым выбросом недалекого отсюда завода, в полгоризонта расползшегося за пологими взгорьями, тяжелой и всему чуждой здесь вонью кривобокой розы ветров – будто там, на западе, невыразимо тяжкую тектоническую плиту на мгновение приподняли и спертый безвременьем адский смрад вырвался долей своею и стал мучить и душить травы окрестные, попавшиеся на пути ростоши, враз потускневшие воды прудов, изводить хоть уже и попривыкших, не сказать чтобы верующих, но с адом не согласных селян. И никак не могло быть тонкой, тянучей, еще чуемой гарью полусожженных, полуразбитых где-то далеко на юге городишек с перепаханнми танками, устланными битым шифером, черепицей и стеклом предместьями, с трупным смердением в иссеченных осколках, изрытых воронками и траншеями черешневых садах – слишком далеки они были, хотя горели, тлели день и ночь, который год.

Это ни на что такое похожим не было и быть не могло; но какая-то, чудилось в последнем, зодиакальном уже свете, сухая мгла сопровождала неведомое это и неопределимое – сама сродни ночной тьме, почти от нее неотличимая и в ней скрывающаяся. Не с чем было сравнить эту мглу, которая и собственно мглюю-то не была, а скорее мерцанием неким воздуха, тусклым его проявлением. Она возникла как бы из самого пространства, из координатной его тончайшей сети просквозила и замечена никем не была, все ушло с головой в первый, утягивающий на дно существования сон, в забытье полное – все, всех увело, кроме разве старика, выбравшегося скоротать с куревом часок-другой бессонницы своей в палисадник старый, полуразгороженный, под непроглядные ночные тополя.

Перед тем, на самом исходе вечерней зари, еще чувствовалось снизу от огородов и прибрежных кустов неявное движение, наплывы, помавания речной свежести, еще одинокий степной комарик тонко зундел, жаловался, и была надежда на скудную хотя бы, пусть под утро, напоющую росу. Но с тьмой и во тьме появилась, проявилась, но облегла все, мертво обняла эта будто иссушающая все в себе мгла, обступила – и завyla где-то одна собака, брехнула испуганно и залилась другая; и старика, без того согбенного, еще согнуло в глухом клочоте кашля, в попытках не дать доломать себя, жизнью ломанного-переломанного, продохнуть, сказать себе самому: да што, мол, за черт... што такое?!

Но не успел. Оцепененье настигло все – глухое, обморочное, и старик уже не задышкой – им зашелся, воздуха лишившим, онемением этим, в какое-то мгновение охватившим и его, человека, и все живое вокруг и неживое, все звуки, движенья, даже осокорек молоденький, незнамо как занесенный сюда и вылезший за штaketником, только что шевелившийся изреженными своими, в чем душа держится, листками, но замолкший враз, даже черный этот кривой, вразнойбой глядящий штaketник... На миг долгий оцепенило, неизвестно сколько продлившийся, в нетях застрявший, в беспмятстве мгновенном и полном, и от него, человека, ни горя, ни радости, ни даже сознания себя не осталось, а одни только глаза будто – чтобы видеть все это, обезличенное напрочь, утратившее всякое содержание свое, жизнь.

И он, казалось, долго видел эти исчерпавшие себя, сутью как кровью истекшие формы бывшие, совершенно плоские теперь, пустые и никому не нужные, пустее выеденного яйца, дыры от баранки дешевле, всю эту небывшую, небывшую, даже и прошлого, казалось, лишившуюся тень мира, испорченный и выброшенный негатив его... да, тень, ничто, просто тени – как местá, где не хватает света. Сколько теней, сколько не хватает света. Сколько тщеты.

Он не думал так, мыслей таких не было, никаких не было; он просто видел все это, как видят, скажем, что лошадь гнедая, не сознавая этого, – и, если только спросит кто потом, говорят: да, вроде гнедая была; точно, гнедая!.. Так и старик видел эту безнадежную, опрокинутую все смыслы нехватку света, тщету немолчающую, эти тени не существующих уже дерев, ничего не огораживающего штaketника, избы своей выморочной, заметно севшей одним углом, и местоположение свое на завалинке, где только что вроде и он пребывал и где даже тень его усматривалась тоже; но ни сказать, ни даже подумать, что это он там есть, или недавно был, или мог, как существо некое, быть вообще, – не представлялось возможным, поскольку и сама возможность эта у него была кем-то или чем отнята. Было только зрение чье-то, стороннее, прозрение в ничто, остального не существовало ни раньше, ни теперь, ибо не существовало и самого этого «теперь».

Отсутствие «теперь», отсутствие самого отсутствия – зачем дано, позволено было видеть ему все это, эти тени теней?

И если никак не мог он там, в стороннем и совершенно немислимом, быть и видеть, зачем дано прозренье, что он там все-таки был и видел?

В вернувшемся тотчас, но каком-то ином «теперь» он уже знал, что никому никогда не скажет ничего – не захочет, это одно, как не захотят о том сказать, он был уверен, и другие, если были они, конечно: не посмеют, разве что совсем уж глупый какой человек болтать начнет, сам себе плохо веря... А другое – о чем и как сказать? Нечего сказать, на это и слов не найдешь, ничего же не было, не произошло... ничего, кроме смерти всего, распада, растворенья в той мгле тончайшей, место ночной тьмы заступившей, место всей земли и заревом завода обозначенного на западе неба, крошечных над головою тополей. Или того, что обреталось за этой серебрящейся серо мглой, чего ни назвать, ни хоть как-то обозначить...

Нет.

Такое слово было, да, но ничего не говорящее, равнодушное и где-то внутри этого своего равнодушия страшное таящее, отказывающее человеку во всем. Но и оно не могло передать самой даже малой толики того, что он почувствовал, умерев и – сквозь долгую-долгую паузу, которой не было, – вернувшись тотчас назад зачем-то, опять сюда, на завалинку опостылевшую, под расщепленный два десятка лет тому грозою, под соловьиный по весне тополь... Зачем было – назад?

Он пожал плечами и ощутил снова свое затекшее, как после долгой посиделки, тело и так уставшую, начал своих и концов так и не нашедшую, покоя не обретшую душу... куда больше тела уставшую, измызганную и уж не подлежащую, казалось, никакому очищению или освобождению душу. Куда ее, такую? Кому она нужна, кто ее взыщет, беспутную, спросит, кто под высокое покровительство свое примет, да и есть ли такое? Ему самому, одному, она не нужна.

Он вдруг понял это с безжалостной к себе отчетливостью: да, не нужна, надоела до смерти, устал он разбираться с нею, непонятливой бестолочью, строптивой когда не надо, глупой, вечно куда-нибудь занесет... Не любит ее, как всякий русский человек, не больно жалуется; а она все вздорничает, а то виляет, врет безбожно себе и другим или болит без толку, мает... Надоело, устал и не знает, куда ее приткнуть, кому отдать. Богу бы, пусть разбирается, – но чертей он много видал, всяких, а вот Бога ни разу, не сподобился, то комполка заместо его, то районный секретарь очередной, не достанешь, а сейчас и вовсе... Не возьмут, не нужна, им это и по штату не положено небось, за свою бы ответить. Всякому до себя; и вот он с нею,

изношенной, не годной никуда, неподъемной иной раз – чемодан без ручки, вспомнил он что-то походя присловье: и нести тяжело, и бросить вроде жалко. Не жалко, нет – зазорно: а зачем нес тогда столько? За каким?.. Вроде чего-то ждешь еще, хотя что можно ждать от жизни этой; вроде сказать должен кто-то – зачем; но никто тут, он уж знает, не скажет этого, а уйти не уйдешь. Жизнь – она, подлая, заставит жить. Просто так вот не уйдешь, зазорно.

И сидел так, тяжелы были мысли, и опомнившийся, напуганный чем-то осокорек трепетал и трепетал перед ним, неслышный.

2

Она его почувствовала, узнала сразу – едва только вошла в непалимовский свой автобус.

Народу уже натолкалось, но с каким-то мальчиком повезло, полужнакомым студентом, приличным и в очках, уступил место; и пока рассовывала сумки – большую под сиденье, так, легкую к ногам, а замшевую сумочку побыстрее с шеи, а то как тетка какая запурханная, – уже глянула и раз, и другой на него, стоявшего в проходе вполоборота к ней... да нет, затылком почти, виднелась сухощавая, даже на погляд жесткая скула, продолговатый нос, прямой, и небольшие совсем, заметно выгоревшие усы, а глаз как будто нет – так, прочерк один, откуда временами проблескивало холодно, даже тускло. И он глянул, не очень-то, видно, довольный, что его побеспокоили вниманьем; не сразу отвел глаза – и отвернулся, отвлекли, какой-то опоздавший мужик бежал рядом с тронувшимся автобусом, кричал шоферу и гулко раза два грохнул кулаком в листовую обшивку; и звук отдаленным получился, из каких-то будто иных пространств, и грозный – так в дверь твою стучат...

Еще раз, дернувшись, тронулся автобус, мальчик спросил про Зину, подружку ее, – да, этим же, своим автобусом и ехали весной, и студент их пряником угостил, большим таким, в коробке. Тульским, да, нежеван летел пряник, пробегались за полдня по магазинам, а дело к Пасхе шло, и как же им, городским теперь, гостинцев не захватить, родительский стол не украсить. Смазливый был, аккуратный мальчик, очки ему даже шли, но руки какие-то бледные, с черными волосками, не скажешь, что из сельских тоже; и с руки этой на поручне сиденья она переводила глаза на белесый затылок того, впереди, не стригся и шею не подбривал давно, завитки. Не из толстых была шея, но сильная, загар на ней уже серым стал; а сам довольно высок, под мышками клетчатой с закатанными рукавами рубахи полукружья пота. И спохватилась, мизинцем под одним глазом, под другим – не потекла? Жара стоит изнуряющая, второе уже лето не щадит ничего, а тут еще замятня та московская, людская, дикая – как перед концом света, мать это всерьез говорит, без всякой скидки, сокрушенно прибавляет: а бесов, бесов-то развелось сколь!.. И едва успела отвести взгляд. Но он глянул не на нее, с ней ему было, может, все ясно уже, а на мальчика именно – и оценил верно и опять отвернулся.

Они ехали едва ли не час, мальчик вел разговор ненавязчиво, нет, вполне непринужденно, раза два заставил даже рассмеяться (она как со стороны услышала свой смех – грудной немного, чуть не зазывный, с чего бы это, девоньки?!); и на своей остановке, в Лоховке, слез с явной неохотой – родители, дескать, ждут тоже, – и обещал наведаться, в клубе-то она будет вечером? Нет-нет, какой клуб, сказала она, назавтра в город ей с утра, назад, работа же. Ну, тогда в городе, на днях как-нибудь, через Зину? Она пожала плечами; ей и неловко было, слышат же люди, и прямым отказом обижать не хотелось, вот уж ни к чему встречи эти... Зинке сказать, не забыть, чтоб не вздумала телефон ее рабочий дать, проболтать ненароком. И постаралась с благодарностью улыбнуться ему, от выхода оглянувшемуся, выручил же.

А этот не сказать чтобы худой, но какой-то плоский телом и прямой, это из-за плечей, не узкие. И припыленный весь будто, его бы отмыть, приодеть. Отчего-то она сразу не то что равнодушно эту мысль приняла – взволновалась ею прямо... ох и дуры мы, без тебя, наверное, есть кому отмыть-одеть, не парень уж – мужчина, погляди получше. Семеро по лавкам, гляди... ну, не семеро – девочка одна, две ли, у таких девки всегда, не оторвешь. Такого не оторвешь. Через плечо сумка, к родне, может, какой едет в Непалимовку к нам или по делу – к кому бы?..

Ну не кулема, уже ругала она себя, переспешила со сборами, кольцо на левую не надела – а ведь хотела! Ведь уже сунулась в шкаф, к выдвижному, а тут кофточку увидела – взять, не взять? Жара, а с другой стороны – легонькая, для утра-вечера, и к платью шла, давно такую хотела, треть полочки ухлопала; и вот взяла, а на кой, спрашивается, париться в ней? Снять

надо, вот что, и прямо сейчас. И в сумку ее, в сумку! И кольцо – носи, за тем ведь и купила, нечего опускаться... что, опустилась? Ну нет, еще годочков несколько... А тоска какая, Господи, кто бы знал тоску.

Он, что ли, знал? Наверное; но никогда ей после о том не говорил и не скажет, с ним на эти темы не разговоришься. Не разбежишься, скажет: ты ли это, матушка? И правильно, не говорят об этом, все равно ничего не объяснишь. Молчат, и оттого, может, тоска.

Но до чего глаза равнодушные у него – там, в прищуре ли, прорези: посмотрел, и она храбро выдержала их, глядя открыто, честно, как могла; а в это время автобус уже заваливался с грейдера на сельский их «аппендицит», и открылись разом в прогале старой кленовой лесопосадки Непалимовка их и заречная луговая даль, а за нею увалы степные со скудной зеленой по красноглинистым осыпям и потекам на склонах, с туманным осевком небесной сини на самых дальних, в плоскость земную утягивающихся возвышеньях – там, далеко, куда ходили, бегали они сигушками еще в колок осиновый за ландышами, там бери их не обери... Ей нечего таить, она честная девушка. Она так это и сказала ему, глазами; а сказать вслух кому – не поверят: мол, знаем нынешних вас... Не всех знает. Господи, как она тогда вырвалась из-под того, Мельниченко, – себя уж не помня, вывернулась: «Не сейчас, обожди... не здесь!» Не здесь и нигде, локти себе потом кусал, бегал за нею – а ведь уж думал, что все, приручил, куда-то не денется... Делась. Делась-подевалась, как знала.

Постой, о чем ты?.. Знала? Знаешь, для кого?

Да что она знала, что знает сейчас вот – когда мужчина смотрит, с этим равнодушным и потому оскорбительным почти взглядом, на нее смотрит, на красивую, цену не сама выставляла – люди; а он бог знает откуда, не сказать, чтоб уж такой приглядный, и совершенно чужой: резковатые складки у губ, это серое от загара, припыленное будто лицо... Чужой, но тот. Которого никогда еще, кажется, не встречала она, во снах разве, но и там ни глаз, ни лица даже, одно ощущение силы этой, надежности в прямых плечах и того, что – свой... Смотрит, и ни тени интереса, кажется, ну как на куклу, на стенку ли какую, черт бы их тягал, дураков, то удушиться готовы, то не глядят. И тот, Мельниченко, девку послушался, дурень, пожалел – «не здесь»... А где, скажи на милость, в мечтах? Там нас нет, там шкурки одни, бесплотность. А мы здесь: кулемы с утра, к работе подмазалась, бежишь, стирки набралось и долгов, регула мутит, на все бы плюнула – а ты цветы и пахни. Ты скрипи, но пой.

Юрочку вот вспомнила, Мельниченко... нет, правильно сделала, что рассталась, гастролер был и фат, широко известный в узких кругах, и хоть сам по себе добрый, этого не отыметь, она ведь и увлеклась поначалу не на шутку им, дурочка, – но как же, должно быть, жалел, что пожалел... Оксанку потом водил, из бухгалтерии, у той всегда и стол и дом, всегда и всем наготове; и отвалил, пропал с горизонта событий. Так не для Юрочки же, в самом деле, береглась – он бы этого и не понял, пожалуй... Или Слава тот же, какой на тебя на всякую давно согласен, на все, – для него? Девушка с приданым, нечего сказать. Взнос в семейную жизнь – вот уж некуда тошней...

Господи, для этого бы!

Она это жарко вдруг и потерянно подумала, в спину ему глядя, почти молясь... не пожалела бы ничего. Один раз пусть – а там хоть куда. Хоть кому – осточертело. Ему первому, чужому, чтоб даже имени не знал ее, – от стыда жизни этой. От стыдобы, какую она не то что определить, понять – назвать-то даже не может.

Автобус подъезжал уже к сельсовету, люди вещи собирали, поднимались; нагнулась, стала нашаривать под сиденьем ручки сумки своей и она. Нашарила, вытащила, а замшевую хоть в зубы – ну за каким вот взяла, для виду? Для виду, обреченно подумала она, для чего ж еще?

Выходили так, будто не все успеют сделать это; и она заразилась тоже, толчком этим при остановке, не терпелось на воздух, на землю нетряскую, надежную свою. Продвигалась к

задней двери и уж искала глазами среди немногих встречающих отца, они ее ждали сегодня, – и вдруг большую ее, тяжеленную сумку взяли сзади за лямки, с ее рукою рядом, и вторым движением молча отняли. Она оглянулась, увидела близко его лицо, не узкое, как ей вначале подумалось, нет, усы над сухими губами и прищур этот, пригляд, и от растерянности кивнула, тоже молча. Они продвигались, потом вовсе остановились, там выгружали громоздкий ящик; и в какой-то момент она явственно услышала запах его пота – совсем не сильный и именно его, он так и должен был пахнуть... как у отца, да, пряным, чем-то табачным, что ли, так рубашки его, майки при стирке пахнут; а мать, когда люди, бывает, хвалят запах в их доме, соглашается, говорит чуть не с гордостью: «Это от мужика... как мужик пахнет, так и в доме. Вон у Ерофейчевых – не продыхнуть...» Его, по-мужски тяжеловатый чуть, отцовский и все ж непривычный... под мышку бы ткнуться, замереть, пропади оно пропадом все, сумки эти, автобусы, работа, двадцать эти четыре, – вдохнуть и не выдыхать, пусть несет куда хочет, все берет, не жалеет, незачем нас жалеть.

А сердце ее билось уже толчками, чуть не вслух – неужто увидел?! Надолго, к кому тут? Спросить? Она боялась, что не выговорит, под этими-то глазами – хотя почему б и нет, всего-то слов... Кивнет сейчас и уйдет, а кто он, зачем, к чему мелькнул тут, поманил и пропал – неизвестно, ищи тогда; а ей с утра завтра автобус опять, общага, малосемейка их драная, с обеда на работу... и все? Хуже некуда искать непотерянное. И растерялась, как школьница, оглянуться боялась – это она-то... Нет, попросить помочь, донести – хоть до магазина, к повороту на свою улицу. Люди? Да бог-то с ними, пусть глядят... ну, поболтают, делов-то. Придержаться, только б не встречали его, – а там дорогу, может, показать, то-се. Вроде нет отца, не встретил, ну и... Дорогу, да, и хоть в клуб вечером, хоть... Или спросить?

Это как лихорадка была – минутная, но оттого, может, резкая, всю ее захватившая, до жилочки, только что не трясло... как тогда, под тем. Помоги, Заступница! И по ступенькам спускаясь подрагивающими ногами, она уже знала, знала, что это – ее, что здесь никак нельзя упустить, что-то не так сделать, не то, и что ей сейчас нужно и можно все делать – все... И когда наконец оглянулась, на нетвердой, будто еще пошатывающейся земле стоя – укачало? – и уже хотела спросить ли, может, или спасибо лишь выговорить, какие глаза будут, – он сам, упреждая, головою вбок качнул, на улицу показывая, сказал:

– Помочь вам? Донести?

И опять она лишь кивнуть смогла, уже во все глаза глядя на него, не стесняясь ни его, ни себя самой, призабыв будто об этом, о людях вовсе не помня, не видя, – толклись вокруг, вещички разбирая, переговаривались... И так дико среди всего этого, так некстати и неожиданно завыл вдруг бабий надорванный, в голос, причет:

– Ой да ты сыночек-то на-а-а-ш, ой да ты миленька-а-ай!..

Она вздрогнула вся, почти опомнясь, оглянулась. Еще не все вышли, набилось много на вокзале и по дороге подсаживались; и вот из передней двери торопливо спускается ее одноклассник бывший Колька, недоучка, где-то в городе монтажничает на стройках, – с каменным лицом спускается, а снизу сестричка его, дядя, бабы какие-то ждут, ей незнакомые, и мать Степашиных впереди, всем слезным, что в ней есть, всем намученным своим за жизнь рвет голос, сердце, и нет укрыться от этого, нет исходу...

– Ой да папынька да твой... да горямышнай наш ды батюшка-а, да ты зачем же нас спокинул-та-а!..

Николай уже держит мать, озирается поверху набрякшими глазами, из последнего крепясь; и когда сестренка обнимает плечо его, виснет, трется мучительно лбом – сдает, суется лицом в материнский серенький полушалок старый, вытертый, меж их голов...

Двое, кто-то из своих мужиков, она успела это заметить краем глаза, коротко и скорбно поздоровались, проходя, – но не с нею, а скорее с ним именно, с попутчиком ее неизвестным,

он хмуро ответил; и, глянув еще раз и пристально на плачущих и терпеливой кучкой стоящих вокруг Степашиных, к ней обернулся, спросил:

– Вам куда?

– А вот по улице по этой... недалеко. Если вам по дороге.

Еще она не поняла из-за происшедшего со Степашиными всего значения того, что с ним поздоровались; вернее, поняла, но не сразу, не вдруг поверила, что он здесь, оказывается, не совсем уж чужой, – потому что прежде всего он ей был чужой тут, неизвестный совсем, и это как-то не связывалось еще... и хотела было уже спросить – что-нибудь спросить, неважно что, лишь бы заговорить как-то непринужденной, ее была очередь, – когда он опять ее опередил, качнул неопределенно головой, хмуро:

– Степан Николаевич...

И дошло, связалось, вспыхнула вся – знает... знал Степашу даже, Колькиного отца, мало-приметного, на разных вечно работах с бабами... Знает! Работает тут? Неужто женатый, Господи...

– Да... – сказала она, они уже шли, шаг у него широкий был, нельзя отставать; и натянутость в голосе своем услышать сумела, добавила извинительно и – сама ничего не могла поделать – натянуто опять:

– Болел он, я знала. Добрый был... Так вы что, уже здешний?

– Ну как... Агрономом тут.

– Агрономом?! И давно?

– Да с год.

– Це-елый год?! А я-то что ж вас не видела?

– Не хотели, может. – Что-то вроде усмешки тронуло губы его и скошенные на нее серые, вроде бы отмягчевшие глаза. – Не замечали.

– Вот уж нет... Я теперь, правда, наездами здесь... то учеба, то работа. А действительно, агроном... – Он бровь поднял, и она, не дожидаясь, с улыбкою засматривая на ходу туда, в недоступную ей пока, непонятную, всю бликами, как вода, искрами отражающую глубину глаз этих, пояснила: – Шагаете как...

– А-а, да... Это есть. – Он сбил шаг, сбавил, ремень сумки своей на плече поправил, тоже набитая была. – Волка ноги кормят.

– Да нет, ничего... Вы торопитесь, может, а тут я... – И отважилась наконец, и с лукавостью откровенной посмеиваясь, с сухостью какой-то нехорошей во рту, слабея решимостью и потому торопясь – выговорила, глаза опустила: – Ждут же дома, наверное... семья, дети там. К ужину.

Он ответил не сразу, он ее разглядывал, она мельком увидела проблеск этот холодноватый в глазах, в прищуре – и было это, уже поняла она, хуже и опасней всего...

– Нету, – сказал наконец он. – Нетути. – И пожалел ее: – Не нажил.

– Да? – И нечего стало сказать, все как-то сразу ослабело в ней, отпустилось, и даже радости как будто не было, лишь толкнуло опять – он?! Хватило еще от глупости удержаться: мол, что же вы так теряетесь, или в этом роде что-то: хватило глянуть благодарно – все сам он делал, брал на себя, ей как-то и непривычно это было, хотя желалось-то давно, – и лишь проговорить:

– Вы уж простите... Смешно?

И опять он не сразу ответил, помедлил, было с чем помедлить, и сказал:

– Нет.

– Спасибо.

– Не на чем.

Усмешка? Ах, да бог-то с нею, с усмешкой, не на чем так не на чем; ей удачно далось, искренне и легко это «спасибо» – так легко, что засмеялась бы сейчас; но она лишь улыбнулась

ему – снизу вверх, именно так, хотя самую разве малость была ниже его, на каблучках-то, – улыбнулась его глазам, покачала головой:

– Ну, мало ль... У них – ну, у женатых там, у замужних – ведь столько дел... ведь так?

Нам их не понять.

– Так уж и не понять...

– Нет, правда... Значит, прижились у нас? Не скучно тут?

– Некогда. Не получается скучать. – Он шел и поглядывал – на нее, на встречные дворы, и уже явная улыбка не улыбка – нет, усмешка все та же – появлялась на лице его, исчезала. – А хитрая вы.

– Я-а-а?! – Она повернулась к нему, широко раскрыла глаза – и рассмеялась, не выдержала, просилось все смеяться в ней, высвободиться, едва ль – мелькнула тень испуга – не истерическое... нет-нет, девонька, нет, как во сне все, как надо, молодчина ты, умничка, умница какая у меня... – Что вы! Я просто... Ой, пришли мы!

И поставила сумку, какую несла, у ног, лукаво глянула опять:

– Угадайте, чья?

Не ахти какая шутка была, но он принял и ее: плечами пожал, по-мальчишески к затылку дернулся было рукой... угадай вас. Действительно, угадай попробуй. И смотрел: впереди по левую руку их дом на взгорке был, а напротив деда Василия избенка с тополями в полуразгороженном травяном палисаднике – непроглядно густыми сейчас тополями, под небо, один грозю расщепило давно, раскорезило до середины; и не на другом каком – на этом селился с давних-то пор соловей и томил, с каждой звездой-вечерницей томил майскими сумерками, и замолкал иногда, ненадолго; но не молкла ночь, вся полная отзвуками близкими и дальними его, соловья, тополевыми в отворенном окошке вздохами, дыханьем веющим, близким в лицо – чьим?..

– Ивана Палыча?!

– Ага! – Она торжествовала, сама не зная почему... да почему ж и нет? Кого хочет пусть спросит: не зряшная семья, порядочная, не какие-то там... Да и знает, конечно же, – ему ль, агроному, кладовщика своего не знать?! Они-то давно знают, а вот она... – Люба.

– Алексей.

Алексей? А что, похоже... подходит, суховатое такое. Алеша – нет, Леша; и где она его видела, когда? Он такой, каким она его где-то видела, и вроде не во сне даже, нет. Такой и в то же время другой совсем, незнакомый. Ему бы костюм – в елочку, серый. К глазам этим, чуть тяжеловатым холодностью своей ли, пристальностью, это с непривычки, может, – с некоторым сейчас интересом ее разглядывающим, пусть, ниже на мгновение скользнувшим... пусть, так лучше даже, вот вся она, двадцать четыре, ей нечего таить. Не вся, нет – двадцать четыре тоски в ней, ожидания, снов неразгаданных, Господи, Ты же есть, Ты знаешь!..

– В город завтра?

Услышал! Слышал, хоть далековато вроде в автобусе стоял – слушал!

– Мне тоже с утра в агропром... подвезу, хотите? Машину должны мне сегодня наладить – могу до места.

– Правда? А то с сумками этими... а родители нагрузят всегда... – И заколебалась, даже оглянулась на свой дом с полуулыбкой неуверенной, это и вправду было для нее неожиданным; и опять на него, уже зная, что он – решит. – А как?..

– Да хоть как. Хоть от двора.

– Прямо так?

– Ага, прямо. – Он улыбнулся, впервые, жесткие лучики морщин у глаз как-то смягчились, дружелюбными стали глаза, почти добрыми... почаще бы улыбался. И сколько ему? Можно двадцать пять дать, все тридцать даже – такое лицо, глаза... – А что тут такого? Отец-то небось все равно пошел бы провожать... Ну, к остановке, к правлению?

- Пошел бы, – вздохнула она.
- Значит, в восемь буду. Тут вот. Зайду. Сблатовала, скажете...
- Что вы, как я такое скажу... Спасибо!
- Не на чем.

И, сумку передавая, глянул, запоминая словно, еще улыбнулся раз и повернулся, пошел назад – к правлению, скорее всего, еще не было и шести. Не то что скоро, нет, но и не медля... оглянется, нет? Наверяд ли. Не из тех.

Она поднялась высоким отцовским крыльцом, на окна свои даже не глянув, обернулась – уже и не видно стало его за палисадниками, поразвели кусты, – в сенцах составила сумки, обессиленно прислонилась к косяку... Господи, вешалась же. И сразу жарко стало, беспокойно – хотя чего там, казалось бы... Ну, дева! Не зря он так глядел, не верил... а ей, что было ей делать?! Ищи потом, жалуйся на судьбу. Как знала...

Радость подпирающая, своей ожидавшая минуты, нетерпеливо дрожащая в ней, – радость волной тошноты подкатила под сердце, по ногам, хоть садись... И вешалась, и пусть. И правильно. Стыд жизни куда был хуже, непереносимей, темней – это у нее-то. Ведь она и знает, чего стоит, и не внешне только, нет, хотя внешне тоже... Она терпеливая, в мать, а это поискать нынче. Но людям этого мало, все как с ума посошли, все им разом, сейчас подавай, тотчас и в блестящей обертке – а что там завернуто... Но она-то знает, что главное в жизни и в человеке – терпение, и к нему готова. Только понять в ней это некому – и некуда деться, как побирушке последней. А теперь... Завтра теперь, все завтра. Дальше она знает – как, дальше дело терпенья.

А страшно. Уже сегодня, сейчас (и она это всем в себе почувствовала, не зря же ведь сердце торкнулось, стукнуло) что-то совершилось непеременимое, не подлежащее никакому возврату, и все теперь само пошло, не по ее даже воле... Кто он, какой – уже не вопрос. Твой, и другого тебе не надо, ты ведь сама это знаешь. Судьба, да? – спросила она кого-то. И судьба тоже. Ты же не захочешь назад повернуть, не повернешь. А потом поздно будет, это и есть – судьба.

И уже знала, как будет. Войдет завтра, под притолоку наклонясь, с отцом за руку поздоровается, на дверь в горницу глянет, скажет: ну, где тут попутчица?..

Заскрипела в избе половица, и она подхватила сумки, шагнула к открывшейся двери, к матери.

– Дочушка, ай ты? А я жду уж, немочь заела... вот-вот, думаю. Не встрел отец-то? А хотел, прямо со складов хотел к автобусу. Дак и ладно, што ж теперь. Донесла же. – И посмотрела: – А ты што это... такая?

– Жарко, мамань...

Лишь вечером она сказала, что до города ее завтра обещал подбросить агроном – главное, к общежитию прямо.

– Эк вы, договорились уж... Это когда ж успели?

– Да так, в автобусе...

– Прямо на ходу все у них...

– Ну и договорились, – сказал отец. – Делов-то. Картошки возьми поболе, раз так. А што, дельный. Вроде не пьет.

– Николай приехал, – сказала она, поторопившись, припоздало вспомнив. – Степашин. Встречали там...

– Да-а, кто б на Степку подумал... На похороны завтра. Ну, болел – ну дак не он один, все болеем, время. А вот возьми вот...

Ходила по горнице, собиралась к завтрашнему, и что-то, ко всему вдобавок, Николай все не шел из ума, Колян, – подойти бы, хоть что-то сказать... стыдно как-то. Не до того ему было,

понятно, встреча такая ему, – а все равно нехорошо. Все поврозь колотимся, всяк со своим, а тут еще и время – мутнее, поганее не было времени, как старые люди говорят, даже в войну. Отец у стола сидел, накладные какие-то перебирал свои, далеко отставляя и глядя так на них, в голове сивости... И подошла, для себя неожиданно, обняла сзади, к небритой прижалась щеке.

– Ну, ну, – сказал он.

Она запах сухого зерна уловила, теплый, чуть терпкий запах пота – и вздрогнула и еще прижалась.

3

Обещал заехать к ней в среду – и не приехал. Она приготовила все, даже коньяк в холодильничке стоял – так, на всякий случай, конечно, он же за рулем; но мог же и с шофером-экспедитором, что-то говорил о нем и о том, что получить кое-что надо в фирме одной... вдруг останется.

Когда она в первый раз это подумала – вдруг останется? – ее перевернуло даже: нельзя, ты что, совсем уж... Тубо, нельзя! Как Милка из первого подъезда на собаку свою, на стерву развинченную, с каждым кобелишком путается, – тубо!..

Но и четверг настал; и она, девчатам своим лабораторным наказав про телефон и в заводууправлении поблизости с партиями американского зерна дела пытаясь утрясти – ни к черту пшеничка хваленая, скоту на фураж впору, – все думала: ну и... оставить? Все ж ясно – или почти все, а там как будет... Да никак там не будет и быть не может, ты ж сама не переступишь, не заставишь себя переступить – страхи свои, сомнения, наказания материнские давние... С чего вообще взяла, что останется, что – оставишь?

Нет, увидеться просто – и больше ничего не надо... Ругалась в бухгалтерии, затем с директором, Квасневым, спорила, уперлась, все из-за американской этой дряни, под видом и по ценам как за продовольственное зерно, сбавленной сюда с новоорлеанского порта, клейковины меньше, чем в нашем фуражном подчас, – требовала рекламации направить, в арбитраж опротестовать. «Рекламацию? Кому?! – побурев от возмущения тоже, кричал Кваснев на эту недавно назначенную им заведовать лабораторией мелькрупозавода своего хваткую девицу. – Заверюхе? Черномырдину?! Взятки там получены уже – сполна!..» А принять если – рассчитаешься ли потом?.. Спорила, затем со скрипом оформляла, как приказано; и опять тоска брала, и слабостью заливало, нетерпением увидеть и честно – честно некуда, Славик здесь постольку-поскольку, – взглянуть, ясно глянуть еще раз в глаза, потому что ничего кроме этой честности и ясности у нее не было, нечем больше доказать, сказать... Доказать – что? Неизвестно что; она лишь знала, что не в счет здесь ни смазливость с фигурой, ни наряды, ни разговоры, тарыбары эти. Что-то малое совсем не поглянется, отведет на себя глаза – вот как волоски те черные на руках у студента – и все, и не уговоришь себя, и привыкнешь вряд ли. По себе знала, все мы знаем по себе.

Еще потрогать хотелось, она ни разу не прикоснулась даже, первой нельзя, – к руке хотя бы, она какая: теплая, сухая ли, этого не обскажешь, и вообще, умные ли руки... как нелепо, когда глупые, хамоватые, за человека тебя не считают, не понимают твоего, человеческого, комкают. Руками – это же разговор, и как отвечать, если ей что-то сказали... ну, тронули, это ж одно и то же, и она не может не отвечать, плохим ли, хорошим, а многие мужчины в этом смысле – ну просто матерщинники. Или зануды, тоже мало хорошего.

Она слишком, конечно же, многого от него ждала, сразу, а так нельзя, не нужно; ждала и этого – что руку на прощанье протянет, но как-то так получилось... ну, не получилось, но это не беда совсем, все и без того было хорошо – и главное, он сам следил, кажется, чтобы все так было. Или, может, это лишь ей кажется, казалось так, а все это само собой у него выходило, как сейчас говорят – без проблем? Противное какое словечко.

Ехали тогда, он курил простенькую, без фильтра, поглядывал – неприметно из прищура своего, и надо было готовой быть, поняла она, что он все увидит, не пропустит. И все помнила, как в дом их вошел он, опаску, даже испуг некий у матери в глазах помнила, для чужих, может, и не видный... Сначала и смешно стало; но ведь и самой-то перед тем, вчера, страшно было, да и что знает она о страхе этом – по сравнению с матерью? Да ничего, можно сказать, инстинкты одни. Но сегодня не было страха, он сидел спокойно, чуть ссутулясь к ветровому

стеклу, рядом, и рука его на баранке плотно лежала, другая с сигаретой у форточки, капот уазика резко подрагивает, взбрасывается иногда на колдобинах – по задам проскочили, потом проселком, а то еще навяжется кто на выезде. Он этого не сказал, только посмотрел и ухмыльнулся; и хотя она сделала вид, что не поняла, но ухмылка эта была ей в тот миг, в секунду-другую какую-то, неприятна. Нет, не секунду, а дольше и гораздо неприятней – потому что это была ухмылка именно, слишком много чего-то знающая про них наперед, а не улыбка. На улыбку она ответила бы тем же, понимающим, – но не на это... резко ездит, и сам жестковат, показалось, как этот уазик его на ходу, все колдобинки считает. Вот он, страх, и не дай бог, если это так, что она тогда делать будет?..

Но прошло, и как-то быстро прошло – от покоя рядом с ним. Необъяснимый для нее покой, она еще, кажется, ни с кем вот так, рядом, его не испытывала, разве что около отца. Вот на обгон пошли на очередной, а впереди уже встречная замаячила в асфальтовых миражах машина, на глазах растет, несется – и впритирку прошли в реве моторов, между бешено вращающихся справа и слева колес грузовиков; и она боится, конечно же, но спокойна – это она-то, второкурсницей еще напуганная таким, угодившая на попутке в кювет: визг подружки, совершенно животный, с механическим визгом и скрежетом тормозов пополам, все заволочшая пыль, и в ней – жуткое лицо шофера остановившееся...

А вот автобус за автобусом пошли «Икарусы» – колонной, несчетные; и он головой на них кивнул, мало сказать – неприязненно:

– Детишек везут...

– Как – детишек? Это ж...

– Ну да... пролетарьят, смена газзаводская. Детишки, ничего знать не хотят. Газ на Запад, башли на карман – и трава им тут не расти. Теперь не пионеров – придурков этих так катают...

– Ну, семьи у них...

– А кто о большой семье думать будет? Дядя? Придурки, типичные.

Разговаривали о том о сем, и как-то удачно у нее получалось, в тон ему, сдержанно, да и торопиться уже не надо было, некуда теперь: ага, технологический, у Соломатина покойного... да, у вас он тоже лекции читал на агрофаке, знаю, но я лишь дипломную при нем успела написать, защищалась без него уже... копуша был такой, ага, но дело-то знал. На мелькрупно... назовут же. Крупорушка, вот именно. Совсем нет, но все-таки город же, привыкаешь... Не привыкли? Прямо уж так – никогда?! Ну, если только посадят, усмешкой отделался он: тюрьма – тоже часть города, существенная; и вообще... сложный это вопрос вообще, и город не люблю... Да никак: он не для меня, я не для него. А на мой век деревни хватит, ее указом не закроешь... Если бы дураки. Хуже, куда хуже. Мы-то еще карабкаемся, а другие... У соседей вон (и ткнул сигаретой вбок, на мелькающие за раздерганной лесопосадкой лоховские поля) и сенокос отменили... А так: однолетних не посеяли, семян с горючкой нема, а многолетних трав век не было... Нет, село подходящее у вас. Старое. Выделили, да... за школой, знаете, где эти жили... ну, Осташковы, так их вроде по-уличному? Вот-вот, и неплохой домишко, до ума если довести. Отопление подвел, а остальное так, между делом... да и не горит.

– Коптит?

– Так, серединка на половинке – дымит.

– А родничок знаете... под горой который, если к лесу ехать? Успели узнать?

– За седьмой клеткой? Ну как не знать... Дикий, скотина туда, считай, не заходит. И вода хорошая.

– Как я давно там не бывала-а...

– А съездим как-нибудь? Я и сам-то... так, перекурить заскочишь когда, на минуту. А туда на полденька хоть бы. И повыше, на речку. Где вишарник.

Съездим!

И еще о всяком: о знакомых общих, о клубе – порнуху одну возят да боевики; о родителях его, которые рядом, оказывается, в райцентре, – ничего, тянут, сестренки двое при них... звать как? Таня и Валюшка, старшая в десятый уже. И так захотелось их увидеть. Белобрысые, должно быть; сестренки почему-то светлей братьев бывают – или нет? О городе опять – и вот уже он, слишком легкий на помине. Промбазы полузаброшенные, изрытая и захламленная земля, «комки» пивные и жвачные; повороты из квартала в квартал, он уже больше молчит, на разбитые дороги ругнувшись только, резко крутит баранку. Вот под носом у громадного забугорного фургона спекулянтского проскочили в улочку частной застройки, промеж пыльных кленов прокатили в ее конец и в новостройку въехали, прямо к общежитию.

Вроде бы успела, прибрала вчера – хотя чего уж там такого прибирать, постель разве... Кто скворечником его называл, общежитие, кто – курятником, матерей-одинок тут и вправду с большим избытком было. Подымались по лестнице, и стыдно было за всю гнусность и грязь многонорного этого логова эпохи реформ, будто в самоиздевку людьми устроенного для себя, в самопопиране; слов не находилось даже, чтобы как-то отвлечь его, несшего сумки сзади и – на лестничном повороте заметила – с явной брезгливостью заглянувшего с площадки в очередной с полуоторванной дверью и стенами и полами изодранными коридор. Только и смогла сказать: «Общага...» – на что он никак не ответил; и вздохнула облегченно, дверь отперев свою, открыв полную утреним еще солнцем квартирку – отремонтированную заводом недавно, уютную-таки, хотя не бог весть какая мебелишка была, сборная. Оживилась, захлопотала – «да проходите же!» – кинулась чайник ставить... нет, спокойней, подождет, некуда ему особо спешить – некуда! – и сумки, первым делом сумки с глаз долой, не напоминали чтоб. В комнату на секунду: «Завтрак за мной, я должника!» – и он оглянулся от встроенных в стенку полочек книжных, согласно пожал плечами, и ей почудилось опять, что на лице его та ухмылка... или не умеет он по-другому, никак больше не умеет? Неправда, очень даже умеет, она-то видела уже. Она не чувствует страха – но страшно же, ужасно, если с сомнением, какой-то ужас тихий-тихий царит на нынешнем белом свете этом, в неслышных ходит тапочках, как Славина мама надзирающая, по коврам махровым нашего бесчувствия, по задворкам тоскующих наших снов – и не дай бог глянет, ухмыльнется... Может, книжки эти? Читиво, конечно: Дюма, Дрюон какой-то, не читала еще... ага, Пикуль с Балашовым, это уже кое-что. Зато и Чехов, Пришвин, и Достоевский черненький, в десяти ли, двенадцати томах; но тяжело его читать и, ей-богу, неохота, это ж каторга – про все это свое читать, запутанное, про себя... другие пусть читают, дивятся, мы и так про себя знаем. Все знаем, кроме одного: как жить. И в зеркальце на кухне: ага, в норме почти, глаза только блестят – и пусть.

Посидели совсем по-домашнему. Он не стеснялся, казалось, ничуть, ел все, что она ему подкладывала, пододвигала, – чуть навалившись на стол, поглядывая доверенней, усмешливей; и когда она, достав банку растворимого, села сама наконец, всего-то через угол столика на кухоньке маленькой своей, рядом совсем, – то потерялась на мгновение от близости этой, от его лица с обветренной, кое-где будто шелушащейся кожей, выбритой... и темно-русые и словно припыленные, да, волосы его неожиданно мягки показались, это по сравнению с лицом, зачесаны небрежно набок, одна прядка на лоб упала, и уж на маленькие сухие уши, пропеченные солнцем, лезли давно не стриженные волосы. Что-то говорила, садясь, – и не договорила, забыла о чем; он жевал, не торопясь, в раздумье словно, яичница с колбасой и салатом на скорую руку перед ним, бутерброды ее с маслом и сыром, и двигались, подрагивали невысоко подстриженные усы, – и глянул, когда она замолкла, вопросительно и ясно тоже, серые глаза спокойные, близко...

Не приехал. Могло быть всякое, конечно, мало ль у него хлопот, сенокос же. Ждать, ее дело теперь ждать. Бабье, уже ты, считай, баба при нем, сама этого захотела; и как ни говори, а есть что-то в нем, бабьем... основательность какая-никакая, завершенность, что ли. Не на

своих двоих только, слабых, тем более если к мужу дети еще. Болтанки свободы нету, поганой. Болтанки надежд, ничем не оправданных, несбыточных. Но, может, еще хуже, когда наперед все знаешь – как со Славой.

Что-то делать надо с этим – или подождать? Малый ласковый, как про таких говорят, Славик и Славик. Уже привык, водит, своей считает, уже папа, профессор со старыми связями, малосемейку вот помог ей выбить – если дооформит, конечно, с условием неприкрытым, коробящим, но ведь и решающим все, все ее проблемы нынешние: муж, квартира, работа... ну, работа и без того хорошая, и что там еще? Машина? С ней чуть подождать придется – но будет, на папиной можно поездить пока; а сейчас, дескать, двухкомнатную построить, заказ уже где-то принят. Про детей же, со Славой, и думать не хочется, никакого почему-то интереса, даже и странно как-то было представить: Славик – и их, с ним, дети?!

Вот и все твои проблемы... все? Всего-то? Если бы так.

Нет, подождать, конечно, отдых Славику, уже она делала так – на недельку, на две паузу, этакое временное охлаждение: хоть немного, а все-таки помогало... Переохлаждение, ведь замерзает при нем, рыбой холодной себя чувствует с ним, треской свежемороженой, гибнет... гибнет? Да, и его губит, ведь знает же: так и продаются – за квартиры эти, прописку, за то-се, весь свет им не мил потом, а муженек в стрелочниках. И видела это, подружек хоть взять, сокурсниц, и читала, зря ж не напишут, такое нынче через раз, – вот где тоска-то. Зато ухожена, напитана, обстановка, круг людей. Не топить, грязь не месить, город. И стирать-готовить будет, приноровишь если, захочешь, – но тошно. Но кто-то пройдет мимо, глянет равнодушно – как вот он, Алексей, – и все, и что-то сломается, сломится в тебе, загаснет, и что с этим делать потом? Как жить с этим? Без пощады глянет и будет прав.

И прибежали: к телефону! – и оказался, конечно, Слава. Славик как таковой, как судьба – один из вариантов ее, верней; но ведь не хотела, не хочет она выбирать, не ее это дело... Что-то, знает она, нехорошее в этом есть, в самой возможности выбора этого: соблазн, попытка решить то, чего решить до конца все равно ведь не сможешь... совсем лучше не решать, иногда кажется, чем дразнить ее, судьбу, колесо запускать это скрипучее, тяжелое, которое тебя ж и... Какому лишь бы катиться – не разбирая, по чему и зачем.

У Славика на руках билеты, певичка какая-то – баянова ли, гармошкина... а ты меня – ты извини, конечно, – спросил? Я не болонка, Слава, у меня тут дела, и вообще я на выходные к своим, может, опять – да, отдай кому-нито, пожалуйста. Или нет, лучше сходи с кем-нибудь – с мамой, лучше не придумай, Агнесса Михайловна хотела же так... ну, вырваться, она ж говорила как-то. Засиделась дома, говорит.

Мама – гладкая, медлительная, с холодным приценивающимся взглядом, прицеливающимся: знаете, так мало в городе нравственных девушек, с чувством обязанности, долга... должницу ей надо, Славику своему. Не мама – фортеция, все под прицелом, все рассчитано у них от и до. Выгуляй маму, а то не прокакается никак.

Нет, Слава, и завтра тоже... Ну, я не знаю; но так получается, что я до вторника ну ни-куда. Ни-как. Зайдешь? Ну как это – «просто»... тем более вечером, нет-нет! Девчата посмеивались, а Нинок ладошками, как купальщица, широкий свой пах прикрыла, прихватила панически – и все так и покатались, и первая Нинок сама, аж повизгивала... Да, тут девочки кланяются тебе, русы косы поотрезали, лохмы одни крашенные... Но кланяются, пол метут ими. Конечно, Слав. Но ты уж пожалуйста. Уж отдохни, от меня стоит, я же... И от тебя, и нам – от нас двоих. Ну я же не могу сейчас, при... И хорошо. А я сама позвоню, потом – ладно? Девам отмашку, хихикают под руку, нет бы выйти; значит, как ты говоришь – до встреч, до расставаний! Но я сама, договорились? Ну, целую.

Лжецелование, оно же и лжеклятва... так и водится оно, так и ведется. Грубое дело любовь. Физиология – ладно, тут понятно; но не менее, может, грубо и это все, что душевным называется, сама необходимость этого – железная, спущенная нам с небес, железо так, навер-

ное, спустили когда-то человеку вместо камня, нет – бронзы уже... Вот он все железный и тянется, век, хоть говорят, что атомный. С железкой необходимости этой в груди, в теле все и живут, волокутся, оттого и тяжело. Вроде как обязанность – а перед кем и, главное, за что? Перебегая двориком назад в заводоуправление, подумала опять: вот именно – за что, за какую провинность такую? Железка, а впридачу железы... Господи, чушь какая, вон уже зырит какой-то – чуют они, что ли? Чуют, псы.

Обещанье, какое Славику дала, выполнила: ни-ку-да, только дома и на работе, на телефоне. Мальчик слабоват был, мог явиться все ж, не утерпеть, и она готова была выпроводить его в пять минут: поцелуй там, по щечке погладить и – домой-домой, Слава... К маме. Сразу против души домашность их была, а теперь и вовсе. Ордер через друга-приятеля папиного временный какой-то выписан, даже в ЖЭЖе удивились, такого у них вроде не бывало еще – либо уж постоянный, с правами, как на обычную квартиру, либо никакой; и она в квартире этой на самых теперь что ни на есть птичьих правах, как в рядовой общаге... А через Славику кухню, феноменальную болтушку себе на уме, дадено знать, что постоянный на свадьбе вручат, торжественно... Через ту же связную или даже через Славику – неужто знает он об этом? – она бы тоже могла условия свои выставить: ордер на стол, а все разговоры потом, хоть о чем, хоть о свадьбе той же; но и противно, и никуда со Славой не торопилась она, не уйдет... тошно, кто бы знал. Обоюдовыгодная партия – обоюдовооруженная. Ладно бы – Слава, папа, добряка-то строит он из себя, конечно, а так тоже ничего; но мама... Тяжелая, как свинец, мама. Породу улучшить желает – за счет здоровых деревенских кровей. Нравственность ей подавай, обязательства. Улучшишь, сединки прибавила б тебе.

И какой тихий, золотой какой вечер за окном, как обняло им домишки, дворы, кленовые с яблоневыми заросли частного сектора, вытеплоило как все, всю его немудреную издалека жизнь – как когда-то, в былом, еще мало-мальски добром мире. Машины совсем редки, явственно слышен говор со скамейки у одного из дворов, там всегда собираются старики, и противный, скандальный крик мальчишек под самой стеной малосемейки, вечно поделить не могут... А звезды ее любимой, вечерницы, не видно, рано еще или, может, с другой она сейчас восходит стороны – бог знает с каких пор выбранной ею звезды, с шести ли, семи лет. И в какой не зная раз захотелось домой отсюда, огородом по меже вниз, к речке под ветлами пробраться и на камень сесть, гладкий от извечного полосканья белышка на нем, от материнского валька, прохладный всегда; и натруженные, нажатые целодневной ходьбой ноги в теплую, сумеречно тихую воду опустить и смотреть сквозь прореженную понизу навесь ветвей, как нежаркое уже, погруневшее солнце тонет в закатной дымке, в пыли прошедшего пажитью стада.

4

Он приехал на другой вечер, в пятницу: позвонили в дверь, она уже и не ждала, но платья не переодевала еще, открыла – он... В легкой куртке-ветровке, с сумкой через плечо, с некоторой неловкостью в усмешке – не ожидали? Ждали, еще как ждали, с румянцем не могла справиться, почувствовала – заливает всю, жаром охватило и тут же сжало живот, как предупреждая; а он вошел, сумку, помешкав, в угол к тапкам, мельком глазами по всему – и на нее, улыбнулся:

– Вечер добрый... Но я, Люб, ненадолго – к другу тут надо, днем еще созвонились, ждет... – И в руки ее, не знающие, что делать, газетный большой кулек сунул, легкий. – Примерной попутчице... в воду. Истерик на перекрестках не устраивала, за баранку не хваталась...

И ей легко сразу стало, еще не сознавала – почему, засмеялась, а рукам работа, разворачивать тут же стала, развернула – розы! Две белые, розовые тоже две и одна пурпурная, тяжелая, черная почти... И протянула зачарованно:

– Спаси-ибо... – И очнулась, спохватилась вся: – Да проходи же! И не разувайтесь, зачем?!

– Нет, разуться-то надо... и жарко же.

Пока, легкая, летала, вазу доставала, на ходу покрывала на креслах и диване поправляла – на столике в кухне уже бутылка муската, шоколад, коробка зефира, что ли... И он, высокий, все еще какая-то виноватость не виноватость, но и неловкость в улыбающихся ей – ей навстречу! – глазах:

– Сенокос только свалили, а тут к уборке надо, готовимся уже... замотали! Пришлось в самоволку.

Нет, не то что высокий такой уж, от сухощавости это и прямоты; и все еще ветром каким-то потягивает от него – полынным, может, или это пота запах, его продутой чистой соли, а она в тапочках рядом, к шуту эти шпильки, в тапочках лучше, на миг взглядывает еще раз – прямо в глаза ему, что-то говорит, все равно что теперь говорить, ничто ничего не значит уже – «не на губу же, в самом деле, вас, не армия же...» Говорит и глядит, не отводя уже покорно поднятых глаз, приостановилась рядом совсем, и будто за волосы изнеможенно оттягивает что-то голову ее назад, лицом к нему, и кухня вроде как уже не тесная вовсе, и нельзя ближе. Наливает воду, тормозит чужими пальцами в вазе цветы, чтобы сами распались, расположились, как им самим хочется, ему это поясняя и чувствуя, как он смотрит на нее, на ее шею; оборачивается и подает ему вазу, с пальцев стряхивая капельки воды, неудержимо тянет взглянуть опять, – и ему неожиданно нравится это, способ этот расставлять цветы, повторяет, усмехнувшись:

– Как им хочется, значит... Есть резон. А то мы все по-своему, никому свободы не даем. Даже этим... цветам этим зарезанным.

«Зарезанным...» Скажет же!

– Сама придумала! – с девчоночьей гордостью говорит она. – Расставляешь их, расставляешь... пусть сами!

– Сама?!

Сама, конечно. Все сама – или это ей лишь кажется так, может, с обид ее всяких своих, мелких... да и какие обиды теперь?! И кивает, спрашивая, да нет – утверждая уже:

– Голодный?

– Есть малость, – посмеивается он, нюхая цветы. – Пробегался, а тут некогда, на вечернюю лошадь чуть не опоздал... Сжевал бы этот веник!..

Счастливый ужас на лице ее – и в ней, отбирает цветы – «мои!» – бутылку ему вручает, шоколад и выпроваживает в комнату, следом сама, все на столик журнальный. Мимоходом телевизор, так, программку прихлопнула перед ним – потерпи, ладно? Ей время нужно, мясо

поставить жарить, уже нарезанное, свининка – она быстро; и салат еще один, летний, хорошо, что помидоров с запасом взяла. Но и минуты-другой не прошло, как он уже на кухне опять – на запах, дескать, хоть никаких еще и запахов-то нет; опершись на холодильник, следит веселыми глазами, рассказывает, как вчера ночью серого чуть не задавил... не волка, конечно, нет – зайца, сейчас они серые тоже. С полминуты, дурачок, перед радиатором скакал, под фарами, а чего бы не свернуть, прыжок один в сторону... вот бы кого на сковороду!

Задавили бы?!

Да незачем... Возни с ним, да и какая сейчас шкурка? Разве что для вас – зимой, как перелиняет... Ужас! Нет-нет, ради бога. Стрелять еще куда ни шло, но давить... И вообще, не подглядывайте... не ваше дело это, кухня. Достала из холодильничка, в руки ему: вот, идите, можете хоть в обнимку!.. Коньяк?! Дело хорошее, а не плохое, как говорят китайцы. Иметь врагов – дело хорошее, а не плохое. Ага, китайцы, у них с этим четко, с плохим и хорошим... не наши долбаки. Продажные эти. Кстати, я не давлю – охочусь. С ружжом. За зиму четыре аж зайца, одна кумушка... буду иметь в виду. Еще чего нести?

Но как быстро темнеет за окном, уже не золото – медь мерцающая на крышах, кое-где провалы сумерек меж домишек, сухая туманная синь, сизость поздняя; и мертвенный сбоку, с проезжей части, от минуты к минуте набирающий силу накал фонарей, где появляются еще тени редких прохожих – косые уже, преступные. Не заглянуть в ее окно, высоко, – но как их зашторивать тянет всегда, окна, прореху эту в жилье... женское это, знает она, уже не раз такое замечала за собой, за другими, на то мы и бабье. А ему хоть вся стена будь стеклянной, лишь бы не дуло; бутылками распорядится, не очень ловко шутит, что-то о мужских достоинствах коньяка, головой качает и морщится смешно и вождленно от шкворчанья сковородки, с которой раскладывает она поджарку, чтобы погорячей было, прямо здесь на тарелки; и поднимает рюмку наконец он и смотрит как-то легкомысленно – нет, с усмешкой над своей легкомысленностью:

– За попутчиц?

– Ну, не за всех же... – улыбается, притеняя глаза, она, зная силу этой тени, этой тайны – которой нету, если не считать двадцать четыре ее тоски, а если и есть, то для нее такой же темной и непостижимой, как и для него. И он послушен этой тайне, он перед ней – она видит – как мальчик, он за нею-то и пришел, за тайной; и ни обмануть его, ни сказать ему всей убогой правды, какую она знает, ей нельзя, иначе она потеряет его рано или поздно. И ей остается лишь одно: до конца, до последнего хранить от него и ради него эту существующую где-то помимо нас тайну... да, хранить, всею собою утверждая, что существует она именно здесь и сейчас, в ней, в сумеречной этой, едва проблескивающей желанием тени глаз, тени слова и каждого безотчетного движения, иначе не удержать.

Он покoren ей – пока – и с мальчишеской самоуверенностью надеется, может, разгадать и это, познать не женщину только, но и тайну ее, и – сам того не желая – разочарованье в ней. И весь смысл ее, женщины, в том, чтобы уберечь его от самого себя, уберечь от разочарованья не столько даже в ней, женщине, сколько в их общей, их совместной тайне жизни... потому что, понимает она вдруг до конца, вот сейчас именно понимает, прикрывая искрящимся фужером глаза, что в ней одной никакой ни ближней, плотской какой-то, ни дальней тайны неразгадываемой нет – без него. Одна она пуста, секреты разве что какие, но ими-то она не больно дорожит, не бог весть что, и все бы, верно, отдала – ради тайны их двоих. И он тоже пустой, усталый-таки, часов, может, в пять утра встал, на мужской одной усмешливости держится, кожа вон шелушится на скуле – поцеловать бы туда, потереться... ну, что он без нее? Агроном, функциональное нечто, как Соломатин говаривал, – с тяжелым мужским, пугающим ее азартом этого познания в глазах, нарочитой легкомысленностью едва прикрытого... дурачок мой. Чужой почти, даже и жесты не все знакомы еще, узнавать и узнавать своего, вот под нижней,

резковато очерченной губой сгибом пальца почесал, озадаченный, как тост свой неуклюжий поправить, – мой, не отдам.

– Не будь эгоисткой, – говорит он наконец, справившись. – Их вон сколь по дороге, по всякой же погоде – что, никого не брать?

– Никого! – мотает головой, так что волосы захлестывает в рот, смеется она. – Только этих... с детишками которые. И старше сорока.

– Сорока-а?! – Он так как-то изумлен, так глядит на нее, что она, тоже всерьез почти спохватившись, торопится:

– Нет-нет... сорока пяти!

И в смехе падает грудью на колени себе; а когда подымает смеющееся свое лицо к нему – он смотрит все еще растерянно как-то, с полуулыбкой недоверчивой, и взгляд его, помедлив, сдергивается, соскальзывает ниже, к вырезу платья... И Боже, как неохота подыматься ей под взглядом этим, прятать, ойкать фужеру в руке, отвлекая, и на спинку откидываться – но надо.

– Однако... – говорит он. – Рамочки! Есть же знаешь какие... мотор глохнет возле таких. Сам!

– Ничего не знаю. Сменить мотор!

– Придется, – как-то буднично вдруг соглашается он, будто о моторе и речь; и уже прищур опять этот, спокойный, а усмешка домашняя какая-то, близкая, где только взял. – Тогда за одну... за тебя.

– Ну нет, как это... За нас. Чтоб никому обидно не было, – оговаривает на всякий случай она. С улыбкой глядит, ждет – и он, покорный тайне, первым тянется рюмкой к фужеру ее, звякает и, кивнув ей, не торопясь пьет. – Только на меня не гляди, ладно? Ешь! Остывает же!

– Не согласен, – говорит он, жуя уже и пытаясь подцепить вилкой ускользающий грибок.

– Чего – не согласен?

– Не глядеть.

Она не помнит, точно ли так все было тогда, но ей кажется теперь, что именно так... Как кажется, так и было, ни при чем тут какая-то правда, которую никто ведь не знает и толком не узнает никогда. Было; и часа полтора ли, два спустя, этого и помнить не упомнишь, он засобирался, и что в ней больше было, облегчения все-таки или сожаленья, она не помнит тоже. Весь завтрашний день был обещан им, сердцу не тяжело было ждать, она пошла проводить его до телефонной будки – товарищу тому еще раз позвонить, предупредить о приезде своем, ночном уже.

На полутемной лестнице навстречу подымался медленно, будто на что-то недоброе решаясь, заметно подпивший мужик, и он в два шага, как только увидел того в пролете, поменялся местом с ней, нашел руку ее своей, сухой и теплой, и так, несколько сзади себя, провел. Рук они не разняли. От асфальта все еще шло теплое, соляркой отдающее удушье, разве что немного просвежело. Им пришлось, отойдя в тень кленового, самоволкой выросшего под стеною подгона, переждать компанию – в ней и девки были, – которая толклась у будки, что-то по очереди орала в трубку, смеялась, материлась и взвизгивала. Он только спросил, есть ли другой где рядом телефон, она покачала головой – поразбиты все – и чуть переместила ладонь свою в его руке, самую малость поудобней, и еще плечом к груди его не прислонилась, нет, – коснулась; и так стояли они, ждали, пока орава эта человек в пять ли, шесть, что-то непотребное выкрикивая и хохоча, не ввалилась в подъезд.

Зайдя и придерживая ногой тугую дверь кабинки полуоткрытой, он раз набрал номер, другой; было занято. Тогда, протянув руку и потеснясь, он вовлек ее осторожно к себе, дверца с утлым скрипом сама притворилась за нею, взял руками за плечи и не сразу, но нашел ее губы.

И от ожидаемой, но все-таки неожиданной, другой совсем, но желанной как никогда жестковатости губ его, усов, ощутимой табачной горчинны их и этой повелительности ладоней

на плечах своих – что-то на мгновение сместилось будто в ней, поплыло, как в первый раз совсем, когда-то; и не зная еще руками, наткаясь ими на сумку заплечную, на угловатости локтей, лопаток его не сухого, совсем нет, но плотного, жестковатого тоже тела, она обняла его, обессиленно – за все-то эти дни – прижалась, замерла.

Осторожно, как-то бережно он целовал около губ ее, у глаз, потом к уху сунулся, потерся; а уже руки, пальцы его успели зарыться в волосах ее на затылке, добираясь, достигая истомного чего-то в ней, беззащитного, пугающе обморочного... нет-нет, ничего. И бережностью этой помалу побуждаемая от первого оцепенения, от желания просто постоять так, привыкнуть, еще этой неожиданной опытности его рук боясь и уже им веря, больше ей ничего не оставалось, – она взглядывать стала, лицо подымать понемногу, губы его ждать... Вот дыханье его, вот они, отмягчевшие, под колко щечочушей податливой щетинкой усов, откровенные теперь губы, и она тонет в них, в близости без дна и опоры... есть опора, и она еще подшагивает, сколько можно ближе, обхватывает всего, приникает – но близости, странно, если и становится больше, то уже ненамного. Ее будто даже начинает не хватать – и хорошо, и здесь, сейчас не надо больше, но ее все-таки недостает уже. Она и этой, какая есть, еще не сыта никак, не полна, еще все обретения, владенья новые ее впусе лежат, ею толком не обследованные, целые таинственные области в них, провалы девчоночьего головокружения в знающей, в ласковой власти этих рук, в прикосновеньях, мимолетных пока, посланцах проникновения, – но недостает. До мучительности потом, до непониманья, кто же и зачем придумал эту ненасытимую, страшную же, но и сладостную муку; но это познает она потом, позднее. А здесь, сейчас, еще в себя не придя после первой их долгой, бездонной, задохнуться заставившей близости, она отстраняется, почти удивленная этим, смотрит жадно, ищуще в лицо ему, в едва угадываемый в темноте проблеск глаз – и опять дыханье ловит его, теплое, губы, его понимающую, все обнимающую власть...

Он еще раз проводит ладонью, грубоватой чуть, но о своей мозольной грубости знающей, по ее щеке, отводя волосы назад, за ухо, задерживает на шее; и снимает трубку, ничего не говоря, и начинает набирать, приглядываясь в отсветах фонаря к диску. Но медлит что-то, останавливается наконец и поворачивает к ней смутное в бессонной фонарной ночи, неопределенное, как все в ней самой сейчас, лицо:

– Что ему... сказать?

Она не знает, растеряна, тычется молча в шею его – и снова этот запах, с полыньком еле уловимым, ноги заставляющим слабеть, сесть тянет, как в степи на прогретый ковылек... Тычется, виновато почти, и не целует, а прижимается лишь губами в мягкое, может, самое в нем и шершавое от проступившей щетины, под скулой, и потом лбом... И он, кажется, понимает – или нет? Суховато целует в висок, в волосы ее, набирает опять, ждет. Медленные идут гудки, слышит она, неохотные; наконец отвечают, он говорит: «Привет, не поздно я?..» И разговор, в какой она не то что вслушивается, нет, ей не до того сейчас, а просто слышит, низкий его, с усталой хрипотцою, что ли, голос слушает: отсюда, откуда ж?.. Да, знаешь, дело. Ну, не дело, а... Дома как? Нормальная ненормальность – сложновато... не в кон? Да это я так, на всякий случай – случаев знаешь сколь? Знаешь. Он опять гладит, отводит за ухо стрижку ее, прижимает за плечо... не один? Почему ты решил? Да нет... Ну, еду тогда. Ладно. Одна? Есть, не суетись. Есть, говорю. Все, давай. Все.

Трубка повешена, она целует его, и благодарность скрыть, кажется, не удастся – да и надо ли? А он горячий, требовательней, в шею, и она даже на цыпочки привстает, обнимая под курткой и чувствуя, как перекатываются под рубашкой плотные, с тонкою, наверное, кожей мышцы, всего чувствуя... слишком всего, и с тихим, с прерывистым смехом отстраняется бедрами, отталкивается и плечами вывертывается из рук его, все-таки и смущенная его желанием. Но кабинка тесна, руки сильные и не чужие, свои почти, она уже их знает немного и дает забрать всю себя, все, и казаться начинает, что падают они куда-то, обнявшись, или плывут с кабинкой

этой вместе – мочой же пропахшей, лишь сейчас почему-то замечает она... Ее передергивает всю, возвращает; она усилие над собой делает – и над ним, отрывается, спиной выбирается на воздух, выводит его, не выпуская руки, и еще раз тянется губами к нему, к подбородку, уже колючему, в уголок губ, второй раз сама.

Он помнит, конечно же, что – пора, хватит; но ведь и в самом деле ему пора, ночь давно, перебрех собак в частном секторе умолк уже и всякие теперь скоты ходят на свободе, не то что фонарей – света дневного не боясь, а у него дело, какое оно ни есть. Она разглаживает кармашек на его груди, на куртке, взглядывает – нет, он все понимает, у него добрые совсем глаза, без прищура всякого сейчас, и она кивает ему: ага? Ага. А где он живет, этот... ну, Иван? Да? Так это ж по линии по одной – далеко, но все ж...

– Нехорошо у него там, неладно... – говорит он. И поясняет: – В семье. Да нет, ничего... я там вроде парламентаря. Дурит она – а чего б еще надо ей? Посидим с Иваном, ночку отдай... Нет, я провожу.

Он смотрит, меряет глазами малосемейку; они поднимаются к ее двери, и слово, всего одно – «кофе?» – с совершенно непонятной себе самой интонацией произносится ею, голосом таким непослушным, что высечь бы его, голос... В ответ он опять тянет ее на себя за мягкие, она сама это чувствует, в его руках безвольные плечи, тискает ласково их как-то, говорит: «Нет, пойду...» – целует еще, бодает скулой и уходит – в самом деле уходит, оглянувшись на повороте из коридора и кивнув ей: жди...

Она отпирает дверь, входит – и посреди комнаты останавливается, не в силах что-либо думать, делать ли, оглядывается; и спешит к окну, к незашторенной его, в слепых отсветах темноте, зная сама, что ничего-то она там, на другой стороне, не увидит, кроме одинокого среди листвы фонаря в улочке и недвижно-бессонного, настороженного зарева над скопищем ближних и дальних мертвых огней города. Немного погодя с воем прокатил за углом неизвестно в какую сторону поздний троллейбус – успел? Должен успеть, остановка недалеко. Напряженно вслушивается, пытаюсь определить, где остановился троллейбус; но тут, как назло, этажом или другим выше, в одной из дыр оконных пролетарского этого ковчега врубают на полную мощность магнитофон, и начинает хрипеть, глухо выть не забытый здесь еще Высоцкий.

Потерялась совсем девочка. Затерялась где-то между тоской ноябрьских выстуженных огородов с негасущим в бороздах снежком, слякотью небесной, в вечер переходящей, в вечность, гремящих пустых и плескающих коровьим пойлом тяжелых ведер, вечно сырых галош на грязном приступке заднего, во двор, крыльца – и оскорбительным равнодушием этих пустых огней, для чего-то другого засвеченных, не человеку, но чему-то преступившему уже все законы, нелюдскому кадящих синюшным своим призрачным светом, назначенным не осветить, но скрыть, растворить в призраках своих все, самого человека тоже – оставив от него лишь косую тень... И что так надрывается этот, над чем, волчьему подвывая в себе, в нас, в мертвеном этом недвижимом зареве ночи?

Заело штору, приходится на стул вставать, на подоконник – и вся как нагая она под волчьим немигающим взглядом города, лишеного небес; вместо него, неба, муть какая-то, сизая от дневного смога взвесь, немота и хриплый этот, осатанелый, в ней полузадохнувшийся уже голос.

5

Она не знает, от чего проснулась – не от радости ли? Уже налиты тяжелым багряным жаром шторы, брызжет в их расходящуюся от сквозняка щель солнцем; и она на груди переворачивается – потяжелевшие, ей кажется, груди – и все теперь помнит, все... Даже то, что вчера как-то ускользнуло от ее внимания, запало в промежутки головокруженья того, странного же, сладкого, забытого почти... как за диван бигудишка какая-нибудь западает или заколка, потом только и найдешь.

Помнила, как в какой-то момент за шею обняла, повисла почти; как лицо его потом в ладони взяла, когда в плечо он целовал, – и как оно сильно, неукротимо двигалось в них, лицо, порывалось все ниже куда-то, все глубже в нее, вздрагивать и ежиться заставляя... Какое на ощупь плотное и сильное тело все у него, такая приятная под рукою плотность у благородного, тяжелого дерева бывает – у статуэтки африканской такая, Слава же и давал как-то подержать, готовиться мальчику... И руки его, когда владели всею, – мог же, но не позволил... совсем мало, вернее, но не в этом же дело, а в том – как. И телом всем вытягиваясь, руки под подушку запрятав, в прохладное, вспомнила, как отстраняться пришлось, и смешок вслух упустила – замираньем каким-то отозвавшийся в ней; и вдруг поняла, что не в комнате одной это сквознячок гуляет, жар ее сна наяву разгоняя, радость отвеивая и умиряя, а в ней самой, что – боится...

Прибралась и, на миг какой-то поколебавшись, подняла спинку дивана, хотя этого-то обычно не делала. Коньяка оставалось больше полбутылки, она еще вчера мимолетно тому порадоваться успела, по-бабьи, не увлекается, вина и вовсе. И розы на столике, она уже приживалась к ним, на минутку: отборные самые, свежие нашел...

Надо было в магазин, хлеба свежего ему, всего, что попадетса подходящего и по карману, да еще и приготовить успеть, котлеты, может, фарш у нее есть, а уж десятый час. И на лестнице вспомнила: Слава... Вполне ведь может прийти, не в первый же раз, как она не подумала сразу, – позвонить, предупредить.

В телефонную кабинку заскочив, огляделась: неужто здесь, Господи?! Ничего-то мы себе не выбираем, никого, все кто-то за нас. Нет, она и выбрала вроде – но кто и что может сказать ей наперед? «Кто может молвить „до свиданья“ через бездну двух или трех дней?..» – из книжечки маленькой у нее... из Тютчева? Лето, давно ничего не читала, а надо бы.

Никто там не отвечал, и было это странно даже, в такую-то для горожан субботнюю рань – собачку выгуливают, что ли? Собака считается Славиной, сказали – чистокровный французский бульдог, а выраженьем морды, прости Господи, скорее на маму чем-то смахивает; и она никогда ни за что не поймет, как можно не то что любить – а там любили ласки, сюсюкали, склоняясь, – но просто жить в одном помещении с этим омерзительным существом, кривоногим, злобноватым вдобавок... Опоздала; ну, еще раз попробует, от магазина, там автомат в тамбуре, не успели еще раскурочить.

Возвращаясь, увидела его, Славу, у подъезда – видно, поднимался уже к ней и теперь, на бетонный блок присев, служивший тут чем-то вроде скамейки, поглядывал вокруг в раздумье... накаркала, надо же! Он что, в самом деле слов ее всерьез не принимает?! Разозлилась даже, шаг сбавила – может, свернуть куда, прогуляться? Нет, нехорошо, низко. И он заметил ее, издали было видно – обрадовался, встретились на самом солнцепеке.

– Я ж просила, кажется...

Больше было нечего сказать ему – больше раздраженья этого, непреодолимого.

– Ну а если рядом оказался... по пути! – улыбался он нисколько не виновато. – Шеф просил тут к клиенту зайти, бестелефонному – вон в тех домах... О, какая сегодня ты! По какому случаю?

И за руку хотел взять, но она отшагнула, плечами пожала:

– Выходной... – Не нашла чего другого, солгала: – К родне надо, к тетушке. Пошли сядем.

– Уж и кофейку страждущему...

– Нет, Слава, нет... Сядем, – и пошла, он за ней, с деланой уже веселостью недоумевающий, к скамейке старушечьей у частного дома напротив, там они, бывало, сидели. С нее, кстати, и подъезд был виден.

– Мы ж договорились...

– Да что ты озабочена так этим? – Она уже села, а он стоял перед нею, высокий, от природы стройный, черными живыми глазами ласково глядел – куда эффективней, конечно, Алексея, это она вынуждена была признать сейчас, девы лабораторные не зря считали его красавчиком... Если б не квартирная белотелость, не мягкость рук его, эта не то что безвольность, нет, но уклончивость от всего... от мамы привык уклоняться. – Пришел – и ушел... Ну, люблю. И не скрываю.

Она молчала, всегда он обезоруживал ее этими откровенными слишком, непривычными и, как казалось иногда, неприличными даже в чем-то словами, каких не любила и побаивалась, лучше молчать уж, чем так, впрямую; но и оспорить не могла, обижать не хотелось... Что вот на них отвечать? Сидишь как дура – словами этими, глазами, всегда такими предупредительными к ней, незаслуженно ласкаемая, авансом будто, оглаживаемая... кошку так гладят. Или эту псину свою. Опутают словами, огородят – не рыпнешься, это в семье у них манера, что ли, такая... И движение сделала, как бы освобождая место ему рядом на скамейке, без того достаточное, и он подсел:

– Скрывать это вообще опасно. Как сигарету в карман от учителя – прикуренную... – Он руку ей на плечо положил, качнул шутливо: – Ну, пришел, увидел – и ушел, пять минут не деньги... У тебя что-то?

– Не знаю... устала.

– Скрывать ты устала, – сказал он все в том же шутливом тоне, каким, кажется, привык уже с нею разговаривать, и она подумала: верно. Он вообще чувствительным был и, в конце концов признала она, умным человеком, и мягким... чего б еще надо? Так Алексей вчера сказал, Леша, о той, жене Ивановой: чего еще ей надо?.. Она не знает, как той, а вот ей самой – надо. Не скажет, может, в точности – чего, но надо. Не чужого, своего, и чтоб он шел, вел, но так предупредительно не оглядывался, незачем, если веришь. Чтоб понимал, но не так вот, с заглядыванием в глазки. Сказал чтоб – и охота пропадала спорить, как у нее и матери после иного слова отца. И много чего еще надо, о чем она сама имела пока смутные, в слова пониманья не переведенные пока представления, да в том и не имелось нужды, оно так сохраннее было, чем в словах... Да, это все тоже надо было скрывать, и она устала.

– Что, угадал?

Угадал; как будто то, о чем она думала сейчас, она ему вслух сказала... бывает же чувство такое. И ответить нечем, не сумеет она ответить.

– О чем ты? Что именно – скрывать?

– Ладно... По крайней мере, хоть я этого не делаю. И, значит, скрытности в два – да, ровным счетом в два раза меньше между нами. А в два раза – это много. Это целая куча откровенности... Монблан, мама миа! Это между нами можно счесть даже за нормальное.

– Мама... – Раздражение опять накатило на нее. – Не скрываешь? Даже мою... – Она подыскивала слово, не глядя на него. – Вариантность мою?

– Как-как?

– Ну, что я – вариант... я не знаю... кандидатка, в общем, не очень надежная. Подходящая, может, но...

– Конечно подходящая! И единственная. И вообще, все мы кандидаты – куда-нибудь, во что-нибудь! В жизнь!.. – Он не зря юридический окончил, Слава, в конторе адвокатской какой-

то работал теперь, набирал разгон. – Любого из влюбленных спроси... да, подходящую ищут, подходящего. Чем я-то в конце концов не вариант?!

Он встал, выпятил грудь и отставил ногу, смеющимися глазами глядя сверху, даже подмигнул.

– Я не о том – о другом совсем... Что на привязи у вас, как овечка. Как не очень надежный вариант. Привязанность, нечего сказать...

– У нас?! Ну что ты городишь, Любава!

Что-то от нее в свой лексикон уже он успел взять, шутил иногда, поддразнивал. Но она лишь мельком взглянула, нашлась:

– Из вашего материала горожу. Подкинули, я и горожу. Да из этого, хотя бы... Чудо-юдо рыба ерш – временный ордер! В ЖЭКе сбежались все посмотреть – ни разу такого не видели. Вас особо, говорят, почтили, как никого. Теперь я у них на особом... особое почтение мне. В случае чего и выставят в два счета. – Она не давала ему сказать, торопилась, обида лезла – да он и возразить не пытался, кажется, удивленный. – Ваш знакомый, этот... ну, Виталий Моисеевич, – ну просто маг! Начальница ЖЭКа говорит: легче постоянный было выдать, раз уж все документы от вас приняли, чем этот... Временная, на крючке... Рыболов-спортсмен. А дорогой кухне твоей поручено меня известить. Передай, что порученье она выполнила – блестяще, нет слов!

– Позволь... порученье? Какое?

– Что постоянный ордер – заметь, постоянный, законный! – я получу только на этой... за этим, за свадебным столом. А не будет... Стола если не будет – не получу, это уж само собой. Видишь, нагородила сколько. – И вспомнила, не удержалась: – Монблана теперь целых два, мама миа! Если сложить, эта самая получится... с любовью высотой. Гора эта...

Она забыла название горы, да и зло свое тоже, потому что он так растерялся, что даже смотреть неудобно было, нехорошо. Встала, не зная, что дальше делать, сумку перед собой из руки в руку перехватила – и вышло по-дурацки деловито, дальше некуда, прямо приговор подписала... И поняла, что лучше всего сейчас было б уйти. Или ему, или ей.

– Подожди... – сказал он другим, какого она еще не слышала, голосом, невнятным.

Она покорно приостановилась, ничего не ожидая, глядя, как у ворот соседнего дома какой-то тип с согласия хозяина пугает и дразнит молодого кобелька, и тот не лает уже, а сипит, задыхаясь, на врага – какой тоже чуть не на четвереньки встал, хотя не пьян вроде... как грубо все, гнусно тут, не по-людски. Зоопарк какой-то – без решеток. Он тоже не смотрел на нее – а где-то перед собой, ближе, чем стояла она, остановил взгляд, где происходило что-то для него непонятное или нелепое.

– погоди, – сказал он еще раз, морща лоб и все так же не глядя. – Ты зря... Я спрошу... может, ты зря. Разберусь. Я позвоню...

Он повернулся и пошел. Потом заметил, наверное, что идет слишком медленно, и пошел быстро.

Народу на большой улице, куда выходила торцом малосемейка, было по-прежнему мало еще, все никак не наспятся, не наваляются, разве что кудлатка похмельная какая за водкой-пивом выскочит, за буханкой, да шли из недалекой отсюда, недавно открытой церкви с ранней обедни старухи в неярком, а то темном, все как одна в платочках – и не сразу его белая тенниска затерялась среди них, среди чахлах околотротуарных липок, которые сажай здесь, не сажай – все равно сломают, какая-то темная страсть к разрушению полезла из многих, слишком из многих... Помолиться бы. Но что отомлить можно в бесстыжести и нелепости жизни этой, как умолить ее, Господи?!

И села опять, почти обескураженная: неужели все?.. Как это скоро все получилось, получается – и с ним, и с нею самой... в самом, что ли, деле судьба? Она грубо так не хотела бы вроде, так скоро... Не ври, сделала – значит, хотела. С вариантами этими дурацкими прицепи-

лась к человеку, навязалось на язык, – а у самой что, не варианты?.. Ну нет, она же не знала, она уж разуверилась, что может быть такое: автобус, «вечерняя лошадь» их обшарпанная, спина его в проходе – и гулкий этот, как предупреждающий, удар и следом другой в дверь ее, все не забывается это никак...

И Слава – он же тоже не знал, это видно же. Мама с папой всем там крутят, с хитромудрым знакомым своим, вот у кого вариантов... Но и это неправда тоже, что ни о чем не ведал, так не бывает. Хоть что-то, но знал. И ждал. Глаза только не знал куда девать, сейчас вот...

Все равно жалко. Хорошего жалко, было ж. Нескучный, шутить, рассказывать умеет, она немало всякого узнала от него. И ласковый, искренний же: «Яркие карие глаза у тебя какие, теплые! Даже сердисься когда... нет, уволь, не могу твою сердитость всерьез принимать!» – и она тогда насторожилась, выговорила ему: как это – не всерьез?! И когда предложение делал – как волновался, как словам ее («да, Слав, но чуть подождать...») обрадовался, не спрашивая даже, зачем ждать и чего, да она и ответить бы не смогла, сама не знала... Как от мамы даже пытался защищать – и заслонял иногда, когда слишком уж наседали, словами опутывала. Всегда наготове, придешь – уже готов у нее силочка очередной, заводит уже в него, заманивает... откуда она силу эту слов знает? Цепкие какие-то у нее слова, как гардинные «крокодильчики», не успеешь оглянуться – вся в них обвешанная, в обязанностях по отношению к ней, обещаниях, из тебя, оказывается, уже вытянутых: вы ведь так и сделаете, не правда ли?.. Ведь вы не забудете?.. Уж вы Славу, пожалуйста, заставляйте, он рассеян бывает, разбросан – слишком, знаете, круг интересов широк, я на вас надеюсь, вы, я знаю, не подведете...

Нет, еще не кончено ничего – во всем, что навалилось вдруг и почти врасплох захватило ее. И решать все это, похоже, не ей, не Славику и уж тем более не маме – какой придется все-таки со скрипом оставить свои такие обширные замыслы. Решать ему. Ты и сама не заметила, когда и как передала это право, да нет – обязанность тяжелую эту ему, и назад уже не возьмешь, не захочешь взять. Разве что сам он бросит...

Бросит?!

Это так ново было, неожиданно – так подумать, – что она в первый момент себе не поверила: он бросит? Из-за чего, как? Даже улыбнулась, все еще со скамейки этой старушечьей глядя, как копошатся под стеной общаги с выводком подвальных котят первые с утра детишки, такая ж безотцовщина тоже, – но уже не чувствуя улыбку, усмешку свою уверенной. Как бросают... Сама как бросала, ни с того ни с сего порой, надоедал очередной – и отваживала, не слишком-то задумывалась. Сама-то «брошкой» не была еще, ни разу.

Она встала, пошла к подъезду: чушь какая, думать об этом – это сейчас-то... Растерялась, вот что, потому и лезет в голову всякое. Главное, ведь ни поводов к этому, ничего нет; да она и не даст их, поводы, она просто не может дать их сейчас, не сумеет даже... Господи, вот дура-то! Взбегая по лестнице, на часики глянула: десять уже, о котлетах лучше думай. О гарнире – гречку отварить, может? Или рис? Рису маловато осталось, нет бы вспомнить, купить, мимо же витрины прошла, глянула же... Вот дуреха-то.

6

Еще она думала, представить пыталась, как он поведет себя в первую не минуту даже – миг этот, почему-то очень важным это казалось, и как ей себя с ним держать, слишком уж скорым все между ними было и вместе с тем расплывчатым, неустановившимся – при дневном-то свете... Непозволительно скорым, если с кем другим, она так не хочет и не умеет, хоть как-то привыкнуть должна.

Но для него, на полчаса припоздавшего с лишним, никаким вопросом это, похоже, не было, не выказал того ничем. Сумку, в целлофановом пакете цветы – пионы?! – все в сторону, потом; стояли в прихожке крохотной ее, в проходе, верней, и ей-богу же соскучился он, в чем другом, но в этом-то не могла она ошибиться. Не обманывалась же, волосы глядя мягко-русые, лицо подставляя губам его, бережным, – после того, первого мгновения, продлившегося, когда заглянул в глаза своими, будто от блеска собственного сощуренными, и губ долго не отнимал от ее виска, вдыхая, просто обнял и стоял так. И сказал то, о чем она только что подумала, но чего еще никак не ждала от него – недоуменное чуть, шепотом:

– Ей-богу, заскучал...

От него пахло малость водкой, и он знал о том, помнил; цветы подавая, еще раз в глаза глянул, а усмехнулся не ей, себе:

– За амбре извини, чуть не ночь просидели, считай... ну, повелось у нас так, не часто видимся. Не сказать чтобы часто. Разговору набралось.

– Вы хоть завтракали там, орелики?

– Да покормила... – И засмеялся, вернее, сказал, посмеиваясь: – Да уж, орлы, далеко залетали!.. Ну а ты-то как тут?

И, не дожидаясь ответа, в волосы ее сунулся лицом, отыскивая все, что находил вчера, к шее.

Открыли створку окна, шторы задвинули и обедали в прохладе, в гуляющем по комнате сквозняке. Иван работал, оказывается, в старой областной газете, бывшей партийной, и фамилию его – Базанов – она слышала уже не раз, что-то даже читала. Карьеру некоторым попортил он тут... неужто тот самый? Самый тот. Учились вместе, в общаге четыре года голова к голове спали, на койках соседних. Жалеет уже, что агрономию кинул, – так ему и надо, не лезь в эту грязь... журналистскую, какую еще! О семейных его делах Алексей не стал говорить, не хотел: ну что скажешь... ну, плохо. По-доброму, к ним бы в гости. Но это до лучших, даст бог, времен; а может, на реку – а, Люб? На дальний пляж, там хоть бережки посвежей, не так накопчено...

Предложение неожиданным было и чем-то ее смутило, заколебалась про себя – вот так, вдвоем? И ответила не сразу, подумала опять: как-то скоро все у них, будто даже поспешно – и не от нее ль это, не она ли торопится? Опасно скоро, да, и она не привыкла так... и что хорошего, если бы и привыкла, как лабораторные девки ее? Но и ничего особенного в том не было тоже, чтобы на пляж, сама сто лет не купалась – целых сто, с весны если считать, да и в городе сейчас некуда податься, не в киношную же духоту; а дома оставаться...

Она с сомнением, с неготовностью пожалала плечами... ну, можно. Ей не хотелось отказывать ему сейчас в этом еще и потому, что, может быть, придется отказать позже – если бы он захотел остаться. Вот чего она боялась и боится, с самого утра. Ведь и понимала вроде эту свою опаску, а как-то не то чтоб забыла... Нельзя оставлять, ни за что, иначе что сам-то он о тебе подумает? Нельзя, пожалуйста, попросила она себя. Все будет, если тому быть, но не теперь, не сразу.

Да и что, в самом деле, смутило ее в этом – на реку сходить всего-то, искупаться? Или уж старой девы комплексы проклюнулись уже? Ну, есть в ней, она и сама знает, это не то что

старомодное, а... Есть, и кто догадывается из подруг – усмеваются, а то попрекают, и пусть, мало ли дур, всем не угодишь; но ведь не до ханжества, нет же. И ей это его предложенье кажется уже нормальным вполне, хотя, будь вечер, лучше бы в театр сходить или на ту же Баянову – но нет-нет, не надо на вечер...

А на реке она была весною, со Славой, вернее – целой компанией, больше пили, дурачились, чем купались, вода еще обжигала ледяной свежестью своей, будто снеговой еще. Не для нее и тем более не для Славы была вода, так что загорать ей пришлось в родительском огуречнике, за прополкой да поливкой... и ничего, успела, она и всегда-то любила загорелой быть.

Но ощущение неловкости, да и, может, ненужности всего, что произошло между ними какой-то час-полтора назад, вернулось к ней, заставило потупить уже перед другим, перед Алексеем, будто он мог что-то об этом знать или догадываться. Что-то не то, не так она сделала... и не от ее ли боязни этой перед выбором, перед жизнью досталось мальчику? Она подумала об этом впрямую – да, вопросом, ответ на который и без того был ясен. Мальчик и виноват-то, может, меньше всех. Он по-своему, но любит. А это другое, она не знает, как это можно выразить, но совсем другое дело, это другие совсем права у человека и на человека, она же ведь помнит себя в первой, горькой от избытка сладости, несмышленной еще влюбленности – он где теперь, юный тогда еще их учитель географии, Андрей Сергеевич? И готова почти признать, что любящий – не виноват, хотя бы уж потому, что как бы не по своей воле любит, а по вышней, и за себя не всегда может отвечать, не в силах той воле перечить – да, именно так, и Славик бедный мог и не на такое пойти, лучше всех зная эту зыбкость отношений меж ними, чтоб удержать...

– Эй, на том берегу... вы где?

Он, оказывается, смотрел на нее – не то что настороженно, но как-то внимательно... неужто почувствовал что? А ты еще не убедились разве? Какие они... Почти торопливо встала, к нему, коленями в колени, за руку взяла: около тебя. С тобой. Так на реку? Ты так хочешь?

– Спрашиваешь!.. Нажарился я на этих посевных-сенокосных... вяленый уже. Балык.

Даже в низкой зеленой пойме под крутоярами коренного берега не ощущалось почти реки. Зной, пылью висевший над городом, разве что чище здесь был, но плотнее, безветрием отяжеленный, без всякой тени; и лишь на самом подходе сильнее потянуло наконец травой с сыроватых ложбин, лозняком, открытой водой. Такая жара, а река в мелких бегучих бликах серая на вид, колючая и неприветливая, это от поблекшего, высоту потерявшего неба. Но вода-то теплая – она, босоножками в руке болтая, забрела в ее отрадную ласкающую плоть, песок отмытый продавливался меж пальцев, игрушечный галечный перекатик шептал рядом, в ступню глубиной, и обморочно кликала над ними чайка.

Подбережье пологое, какое дальним пляжем называли, было пустынным. Вдалеке, на пляже городском, что-то разноцветное лениво роилось, еле пересиливая полуденное оцепенение, а здесь лишь спекшийся иловатый песок, полянки зелени кое-где, пойменный на той стороне реки лес; и за дальним лозняком компания какая-то сидела, отсюда неразличимая, и женщина стояла там, расставив ноги и к солнцу лицо подняв, прикрытое панамой. Им не пришлось долго искать, сразу выбрали место, просто выбрали на него – под тальничком тоже, на травяном его подножье.

Она, может, слишком долго расстилала старенькое тканевое одеяльце, пристраивала сумку в жидкой тени... она, странное дело, раздеваться перед ним стеснялась, хотя в компаниях-то делала это едва ли не с охотой, чувствуя на себе собачьи глаза парней, что-то в них собачье сразу появлялось, и неудовольствие подруг; то же и с Мельниченко когда-то, чуть не подразнилась... Ждала, и оглянулась лишь тогда, когда шлепанье ног услышала по воде: прямой, узкобедрый, в синих то ли плавках, то ли трусах трикотажных, он шел без остановки туда, где угадывалась глубина, и резко выделялся загар шеи и рук его... рабочий загар, на песочке

валяться некогда, на людях не растелешись даже и в поле, хотя спина уж прихвачена тоже солнцем... И тесемка тоненькая на шее – крестик?

И быстренько стянула через голову платье, на тальник накинула и пошла, но не за ним, а вбок куда-то, выше по реке... Господи, да что с нею? Засиделась, старая, думать стала много, вот что. Уже он плыл, от течения косо отмахиваясь, с головою и раз, и другой, с наслаждением негромко отфыркиваясь; и ее приняла вода, чуть не холодной показалась в первые ознобные мгновенья, – охватила и понесла к нему. Она поплыла, огребаясь лишь и стараясь в лицо не плеснуть себе, и прямо на него вынесло, стоявшего по грудь, ждавшего уже.

Он поймал ее, в воде скользко-холодную, такую ощущала она себя, тяжелую, и теченьем ей ноги на него занесло, так что пришлось обхватить ими его, под напором шатнувшегося; но устоял, прижал к себе крепче, бережней и заглянул в лицо, прямо в глаза своими смеющимися, в дрожи брызг на ресницах, и стеснение, и боязнь эта дурацкая оставили ее. Обняла, всего его, как ни отвлекала вода, чувствуя – он, вот весь он, его напряженное, мышцами в сопротивлении потоку подрагивающее тело, оскальзываются друг по другу они, как большие холодные рыбы, качает их, то прижимая ее к нему, то вздымая плавно и разводя; и еле удержаться могла, дожидаться, когда он первым коснется близкими губами, скользящими по мокрой щеке, к губам ее, шее...

Они так и вышли, обнявшись, и легли, лицом друг к другу. Она стирала ладошкой со скул его оставшиеся капли, отводя мокрые потемневшие русые прядки со лба, с висков; и он тоже провел осторожными пальцами в одном уголке ее глаза, в другом, вытирая.

– Что?

– Краска, – сказал он. И усмехнулся, добавил: – Грим ваш...

Она быстро встала, побежала к воде и, зачерпывая полные пригоршни ее, теплой и пресноватой на губах, умылась и крепко вытерла лицо и подглазья ладонями. И, возвращаясь, увидела, как он смотрит на нее... с удивлением ли, мальчишеской растерянностью? Невозможно было понять – как, да она понимать и не хотела, главное – он ждал ее, дернувшись навстречу было, приподнявшись на локте и почти недоверчиво глядя или с жадностью, пойми их... Нет, она-то знала, волей ли, неволей, а отметила, что это ведь в первый раз со стороны ее он увидел без платья, увидел почти всю; и уж не стеснение никакое в ней, нет – радость за него и за себя, девчоночья, за них, и если было б что на ней прозрачное, вроде газа, то прихватила бы пальцами прозрачное это и крутнулась перед ним, язык показала...

И упала рядом с ним, на него почти, и лицо к нему повернула, прикрыв глаза, подставила: – Вот!..

И только она знает, как легки и неуследимы губы его, прикасающиеся к ее лицу то тут, то там... целуют ли, капельки собирают ли оставшиеся, и усы не жесткие, нет, щекочущие чуть, а руки... Ох, руки, она в них вся, они вездесущи и все в ней знают, почти все, и она вздрагивает от них и прижимается, бежит от них к нему же, бояться опять начинает их. Она зарывается от них в него, прячет даже лицо, губами в ямку его у шеи вжимается вся, – но так беззащитна, оголена спина ее, ноги, и каждое этих рук то касанье, то крепкое, дыханье перехватывающее объятье так пронизывают невыносимо, как дрожью тока, что уж только на спину – перекатиться бы, прикрыть ее, спину, его не отпуская... нельзя, что ты, нельзя! И напряглась, стоны не сдержав, оторвалась, руки перехватывая эти, и губы его чуть не вслепую нашла, впилась...

В тот же миг чайка панически закричала над ними. Она вспомнила, что – берег, опомнилась вконец, приподнялась и, глазами блуждая, обернулась туда, к лозняку; но нет, слава богу, женщины той уже не было там, не видно никого. Он лежал навзничь, с закрытыми глазами, синий эмалевый крестик на плече, и что-то вроде улыбки бродило по его лицу. Она взяла в обе ладони его руку, безвольно тяжелую теперь, тряхнула ее сердито, как щенка нашкодившего, – и не удержалась, прижала к своей пылающей щеке.

7

Вино было кисленькое, чудесное по жаре и чуть сладило, она давно такого не пила, это они по дороге сюда в магазинчике купили. Он открыл бутылку оставшегося еще коньяка, выпил рюмку – нет, жарко, ополоснуться надо... И она уловила его взгляд, еще отрешенный от всего, только ими двоими занятый, – взгляд мимо нее, на берег, и оглянулась.

Вдоль него, берега, не торопясь шли двое, парней ли, нет... не парней, нет, постарше один, в рубашке расстегнутой и в сатиновых черных трусах, коренастый, другой моложе гораздо и повыше, с обгорелыми плечами; а сзади, отстав на сотню шагов, брел по отмели, по воде третий, видно было – подвыпивший... К ним шли, мимо ли них – непонятно, но уже сердце ее заколотилось нехорошо... к ним. Она встревоженно посмотрела на него, и он кивнул ей – ничего, мол. И усмехнулся.

– Не связывайся только... ладно?

Она проговорила это шепотом, уже боясь, что услышат; а он лежал на боку, на локоть опершись, и медленно жевал, поглядывал на подходивших.

Они в ногах остановились, шагах в трех-четырех, и молча разглядывали их. Тот, что помоложе, белобрысый, под ежик стриженный, с красным на лице и на плечах загаром и мужественной вязкой мускулов вокруг рта, на нее глядел, потом перевел бледные глаза на бутылки. Она, не зная, что делать, села. Алексей посматривал на старшего, сощурившись совсем.

– Что? – сказал он наконец, и голос его был так неприветлив, вызывая даже, что она дрогнула, умоляюще оглянулась... ну зачем, не надо! Миленький, не надо! Но он лишь мельком глянул, останавливая даже молчаливое это ее, больше в глазах его ничего нельзя было увидеть.

– Может, угостите? – Старший сказал это миролюбиво, и на левой стороне оплывшей его волосатой груди она только сейчас увидела со страхом татуировку, совсем небольшую. – Поговорим о том о сем... то да се.

– Нет. Не рассчитывали.

– Н-ну, ты!..

– Подожди, – остановил тот обгорелого и с каким-то интересом оглядел Алексея. На нее он совсем не обращал внимания, будто ее тут не было. – Не понял... жалко, что ль?

Вместо ответа Алексей встал – не торопясь вставал, на шаг вбок соступил с подостланного и оказался напротив белобрысого.

– Жалеешь, – утвердительно сказал старший, и что-то в его скуластом лице промелькнуло, сожалющее тоже. Качнул головой, оглядывая подбережье все, и сделал движение, как будто собрался уходить.

– Зачем? Говорю, не рассчитывал. – И ей кивнул, но куда-то за спину: – Идем... пора нам.

– Сиди!

Это ей, лицо у белобрысого почти бешеное; а подходивший сзади, тонконогий, вообще худой, невзрачный и весь каким-то редким волосом поросший, засмеялся, крикнул:

– Парам-пам, да?!

И тут же дернулся обгорелый, шагнул; и, увидела она, отшатнулся от его кулака Алексей, но второй в лицо ему попал – так, что голову мотнуло. Глаза б закрыть, не видеть... не закрывались, и в ужасе глядела, сжавшись вся, как оттолкнул он белобрысого, сам отскочил, и как забегают ему сбоку, друг другу мешая, других двое.

И не успев глаза перевести на него опять, на Алексея, скорее поняла, чем увидела, как увернулся он от очередного кулака, отпрянул, но тут же толкнул, не давая тому развернуться, – и, как-то присев, ударил вдруг, снизу, и белобрысый со всего размаху сел, вдарился ягодицами

в землю, с глухим каким-то жутким стуком, и завалился, оскалился беззвучно к небу, выворачивая шею...

Это безумьем было, мороком мгновенным, ничем иным – потому что ей жалко вдруг его стало, обгорелого... Да, на миг какой-то, на полмига всего, но жалко... так боль его почувствовала, хряк этот, стук ужасный, в ней во всей отозвавшийся... Господи, помоги!

Но было, кажется, поздно. Уже коренастый в голову бил Леше, в лицо ему опять, тычками какими-то резкими и страшными, дергаясь телом всем, а худой вцепился в руку ему в правую; и Алексей, оступаясь назад и рукой другой не успевая отмахиваться, упал, за собой увлекая того...

Она вскочила наконец, закричать хотела... кому? И кинулась, толкнула уже поднимавшегося с карачек худого, и тот, руками нелепо, по-бабьи всплеснув, свалился через Алексея головою вперед, в ноги старшему...

– Ну, с-сука!..

Она не знает, кто просвистел с обещанием это – в рубашке тот, с ног чуть тоже не сбитый, или обгорелый, глазами на нее белыми глядящий с земли, перекосившись сидит, рукою за зад... Уже он, Алексей, Леша, встал и бежит, шатаясь, мимо нее и за локоть ее хочет, но промахивается, подбородок в крови – и она за ним кидается, с ним... Он хватает, чуть не падая, бутылку, а ее назад толкает, за себя, грубо; и другую нашаривает, уже глаз не спуская с тех двоих, разгибается. И друг о дружку их, бутылки, тукнуло со звоном, плеск, звяк невнятный осыпающегося стекла, – и переступает через осколки, в одной руке горлышко, в другой чуть не полбутылки уцелело, идет на них...

– Ладно-ладно... все! – Это старший: отступает поспешно на несколько шагов, руками примиряюще. И трогает губу, в лице у него брызгливое уже что-то. – Все, шустряк. Почокались.

Алексей останавливается; и тот, еще раз удостоверившись глазами в глаза, что – кончено, поворачивается к белобрысому, уже будто и не боясь, хозяином опять. Глядит, как встает, распрямляет тот, матерясь, мускулистую спину, говорит:

– Все, выпили. Вот не жалко же.

– Убью сук... найду!

– Убьешь...

Старший говорит это с непонятным выражением и идет к воде. Наклоняется там, лицо ополаскивает, примачивает и, утираясь на ходу полрой рубашки, уходит вдоль кромки галечника, и обгорелый явно за ним не поспевает, хромотает...

– Алеш... Лешенька! – Она всхлипом давится, каким-то сухим, ее бьет им; пальцами дрожащими трогает его прямо на глазах запухающее слева лицо, подбородок... кровь, Господи! – Больно, да? Платочек сейчас...

– Стекло, – говорит он глухо ей вслед, когда бросается она к сумке, – и вовремя, чуть не напарывается, стекла удивительно много, везде. – Не надо... умоюсь. Собирай.

Она спохватывается, на уходящих оглядывается, на него, бредущего к воде, и лихорадочно заталкивает все в сумку, хорошо – большая. И руки ее опускаются вдруг, сами, и нету сил их поднять. Это страх возвращается к ней, одуряющий, и на мгновение мутит, затемняет все, что бы могло быть... Все могло, да нет – было б, за тем и пришли. И уж не жизнь была б... повесилась бы, утопилась. Она не знает, как смогла бы жить тогда. Не встань Леша...

Боже мой, быстрее надо – и не наверх тропкой, какой пришли сюда, а к набережной, на пляж, где люди. Вернуться могут – с ножами, с чем угодно... Смотрит опять, с содроганьем теперь: на подходе к лозняку уже, нелюди, баба торчит опять... как, как можно – с такими?! И срывается, бежит с сумкой к нему.

Он оборачивается к ней, хочет, наверное, улыбнуться, но получается криво: разбита губа, это теперь видно, и кровь еще не везде смылась, успела свернуться, пятнами на светлой щетинке подбородка, на щеке...

– Хорош? Окунусь сейчас...

– Лешенька – нет! Нельзя!.. – Она тычется ему в плечо и тут же вскидывает голову, глазами ищет глаза его, умоляет: – Мы там, у пляжа... Вернутся же – с ножами, не знаю с чем! Быстрей пойдем... уйдем!

– Не вернутся, – говорит он, смотрит туда, его лицо на миг совсем чужим становится и не то что злым... Но не дай бог, чтоб на нее когда-нибудь так посмотрел. Она впервые видит такое у него лицо, она уже боится и его, всего боится в жизни этой проклятой, страшной, готовой сломаться и все сломать, в любую свою минуту... Увидят, что купается, вздумают – и мигом же добегут, будут здесь...

– Не они, не ты... – говорит ли, кричит она бессвязное. – Я не могу, понимаешь, – я! Уйдем скорей! Я не знаю, что... я заплачу сейчас. Ударь меня, раз так!..

– Ну, ну... – Он обнимает ее, сумку перехватывает – согласился? Да; и оттого, может, что тяжесть эта снята, что уговорила – вдруг обмякает она вся, ноги не держат, и слезы прорывают что-то в ней наконец горячие, трясут ее, и щекой в грудь ему опять, трется, размазывает их... девочка, что ль? Девочка. Руку его находит, надо быстрей; отрывается, лицо отворачивая, и чуть не тащит его – подальше отсюда, рада и бегом бы...

Уже на полдороге, чуть уняв сердце, она замечает наконец-то, что он, усмехаясь ее оглядкам туда, к лозняку, теперь пустынному, далекому, слившемуся с зеленой каймой всего подбережья, – что поморщивается он, пальцами шевелит в ее руке, высвободить словно хочет... Она опускает глаза – и ахает: суставы на правой у него сбиты в кровь, распухли тоже...

– Миленький, прости!.. Да что ж это такое, мамочки?!

– Да ничего... достал пару-тройку раз. Эх, коньячку бы...

– Ага! Я прямо напьюсь!..

Он хохочет тихо, остановясь, головой поматывая и морщась; а она смотрит почти обиженно, недоуменно – и тоже улыбаться неуверенно начинает, и слезы опять близки к глазам...

Они останавливаются на подходе к городскому пляжу, на мыску у лодочной пристани; наспех расстилает она отсыревшее, что ли, с большим коньячным, резко пахнущим пятном одеяльце – и пока смывает он с себя все, фыркает в воде, вдруг решительно натягивает платье, уже даже мысль сама забраться в воду противна ей... Опять оглядывается в обе стороны: там – никого не видно, а над пестрым, неестественно ярким лежбищем пляжа гам бессмысленный и крики, магнитофонные завыванья, грязная вода сносится оттуда, и все подваливают сверху, из города, спускаются... нет, домой сейчас, только домой.

Он не удивляется, одетой увидев ее, садится как-то устало, закуривает, и она подступает наконец с платочком и флакончиком духов из косметички.

– Э-э, без них, – твердо говорит он. – Не хватало благоухать... Ты этой лучше... слюной. Не ядовитая же.

– Нет, Лешенька, нет... – шепчет, дышит над ним она, и чайка, тоскливая чайка опять откликается ей.

8

Они шли к остановке тихими, сейчас и вовсе малолюдными переулками. Возле винного магазина на углу отиралось несколько фигур; и она подумала, что впервые, может, смотрит на них без опаски – но только рядом с ним, конечно. Нарочно их разводят, что ли, – готовых на все?.. Теперь она не сомневается в этом...

«Подыши тут, я сейчас...» – «Нет, я с тобой». Зашли. Продавщица, под мумию заштукатуренная и выдавшая тут, конечно, всякое, подавая коньяк и вино, глядела не столько на Лешу, сколько на нее; и она подшагнула к нему, он расплачивался, под руку взяла и посмотрела ей прямо в щели покрашенные, равнодушные – и та отвела глаза.

Ехали в углу на задней площадке, он спиной к салону, говорили мало и не о том, что было и будет что. Не скажешь еще, что завечерело и жара спадать начала, неуловимо еще все это, но людей на улицах прибавилось – порожнего люду, гуляющего. Вот они едут домой; примочки обязательно надо, минералкой из холодильника, чтоб спало, и рубашку не забыть постирать – кажется, наступил на нее там... наступишь. Они едут домой, она мясо поставит тушить, еще утром вынула из морозилки, банку помидоров откроет, домашних; может, он поспит, он же ночь с этим Иваном не спал, а тут такое... он поспит, а она пока все приготовит. И они будут одни. И ни с каким вечерним он не поедет. Она подумала об этом просто, без какого-то уже теперь сомнения, потому что для себя все уже решила... когда? Не знает; где-то там, на берегу. И куда ему таким, на глаза людям сразу. Он переночует, а завтра хоть с утренним, хоть с вечерним, когда ему понадобится. И что будет, то и будет. И не потому, что эти... Она белые те глаза не забыла и только не позволяла себе представить, что и как могло бы быть... нельзя, не надо. И решила не потому, что каждый зверь, нелюдь отнять может и оскорбить в ней все навек, до невозможного, до невозможности жить... да в возвращение любое позднее, Господи, везде эти скоты сейчас. Но не потому. Просто она ждала, его ждала, и он пришел.

Держась за него и приподнявшись на цыпочки, она поцеловала его в уголок губ, в правый, куда давно хотела, и сама почувствовала эту какую-то не то что холодность, но прохладу своих губ, спокойное это свое, решенное. Он не понял, глянул, улыбнувшись чуть, и сказал:

– За что? За что так?..

Она не ответила, просто смотрела в глаза, просто руку ему положила на грудь. Не объяснишь; да и что они могут понять? Что мы понимаем во всем, что можем? Ничего.

Только дома уже спохватилась, ругала себя: как она забыть могла?! Чего-чего, а уж подорожник она бы нашла там, на берегу... И осчастливило: а во дворах, в частном секторе! Не объясняя ничего – «я сейчас!..» – сбежала вниз. И от подъезда увидела в тени на скамейке, где еще утром сидела и совсем-совсем другим была занята, двух бабушек, после похода в магазин отдохавших, наверное. Ходила с ними, стучалась в калитки и окна – пока наконец у одной совсем уж глухой старушки не отыскали его, подорожник, под заборчиком, среди подвяленной зноем муравы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.